

Копия критических этюдов.

КРИТИЧЕСКІЕ ЭТЮДЫ

НА НЕКОТОРЫХЪ ЛИРИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

А. КОХАНОВСКАГО

И. Ф. Кошкинъ

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the top of the page.

202. archiwalny IBL

КРИТИЧЕСКІЕ ЭТЮДЫ

О НѢКОТОРЫХЪ ЛИРИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Я. КОХАНОВСКАГО.

И. Ф. КОЖИНА.

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63



КІЕВЪ.

Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра
Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайловская ул., д. № 4.

1898

<http://rcin.org.pl>



Печатано по опредѣленію Совѣта Императорскаго Университета Св. Владиміра.
Оттискъ изъ „Университетскихъ Извѣстій“ за 1898 годъ.

7346

Предисловіе.

Въ своихъ этюдахъ я пытался рѣшить: 1) имѣеть-ли любовная лирика польскаго автора біографическую цѣнность и 2) даютъ-ли тренны право заключать о пожизненныхъ сомнѣніяхъ поэта въ христіанскомъ догматѣ.

Для обстоятельнаго отвѣта на эти двѣ мелкія задачи, по нашему мнѣнію, необходимо было-бы вывести генеалогію идей и эстетическихъ принциповъ Кохановскаго изъ существовавшей въ его время (XVI в.) на Западѣ гуманистической среды, къ которой онъ приобщился, еще будучи студентомъ Падуанскаго университета. Брюкнеромъ фактически доказана литературная связь Кохановскаго съ Бухананомъ, шотландскимъ гуманистомъ, авторомъ стихотворнаго латинскаго перевода Псалмовъ Давида. Попытки Хлѣбовскаго и Тарновскаго установить зависимость нашего поэта отъ Аріосто (Sobótka, Szachy) и Ронсара большинствомъ представителей польской ученой критики встрѣчены осужденіемъ. Между тѣмъ это осужденіе напрасно. При выясненіи отгѣнковъ такого культурно-историческаго типа, какимъ былъ Кохановскій, литературныя аналогіи имѣють большую цѣнность, что доказывается, напримѣръ, сопоставленіемъ творца *Odprawy Rosłów Greckich* съ авторомъ гуманистической эстетики Скалигеромъ (ст. Неринга въ Юбил. изд. соч. Я. Кохан.). За недостаткомъ эрудиціи я не могъ принять на себя задачу освѣщать разсмотрѣнныя мной произведенія необходимымъ историко-литературнымъ коммента-

Критическіе этюды о нѣкоторыхъ лирическихъ произведеніяхъ Яна Кохановскаго.

Любовная лирика.

I.

Эротическая поэзія своимъ происхожденіемъ обязана греческому гению. Искренность и глубина чувства, естественность и грація языка отличаютъ произведенія Мимнерма, Сафо, Симонида изъ Кеоса. Антимакъ—начинатель ученой поэзіи—считается предшественникомъ александрійскихъ представителей эротики, которые, какъ, напр., Филетъ и Каллимакъ чистотой дикціи, правильностью стиха, богатствомъ миѳологическихъ и антикварныхъ аксесуаровъ безуспѣшно замѣняютъ недостатокъ свѣжей фантазіи, естественности представленій и живого чувства. Конечныя судьбы древней любовной лирики связаны съ исторіей римской литературы. Въ эпоху Цицерона приобрѣтаетъ извѣстность Катуллъ, при Августѣ съ большимъ дарованіемъ пишутъ элегики и эротическіе поэты, Галлъ Корнелій, Тибуллъ, Проперцій, Овидій. Всѣ они послѣдователи александрійской школы, но и сами настоящіе таланты, которымъ одинаково доступны, сюжеты историческіе, общественные, интимные. Отъ александрійцевъ они усвоили манеру усащать свои стихи миѳологическими вставками, у нихъ учились стилистическимъ красотамъ, но при подражаніи умѣли выдерживать колоритъ оригинальности и въ духѣ своей націи обнаружить значительную творческую изобрѣтательность.

Къ этимъ римскимъ образцамъ въ эпоху Возрожденія обратились поэты-гуманисты. У каждаго изъ нихъ свой авторь-любимецъ,

на комъ онъ преимущественно воспитывалъ свой вкусъ, кому подражалъ, начиная съ версификаціи, манеры, кончая міровоззрѣніемъ.

Для Кохановскаго такимъ избранникомъ былъ Тибуллъ, извѣстный элегіями къ Деліи. Этого писателя польскій поэтъ напоминаетъ какъ внутреннимъ содержаніемъ своихъ любовныхъ произведеній, элегій по преимуществу, такъ и внѣшней ихъ формой, т. е., стилистическими особенностями и литературными приѣмами. Внутреннія соотвѣтствія между Тибулломъ и Кохановскимъ касаются прежде всего ихъ міровоззрѣнія.

Тибуллъ дышетъ трогательнымъ настроеніемъ. Онъ въ разладѣ съ окружающей дѣйствительностью, недоволенъ вкусами и интересами своего времени, ему ненавистенъ мутный водоворотъ городскихъ страстей и излишествъ, позлащенная и разодртая въ пурпуръ порча нравовъ. Его идеаль—тишина сельской жизни и наслажденіе чистой нравственной любовью среди деревенскихъ занятій. Глубоко грустный тонъ мѣстами окрашиваетъ его произведенія вслѣдствіе несоотвѣтствія мечтаній съ результатами, показанными жизнью.

Идиллическое настроеніе и элегическая струйка свойственны и Кохановскому.

Далѣе, польскаго и римскаго поэта роднитъ направленіе ихъ эротической лирики.

Тибуллъ въ своихъ элегіяхъ является характернымъ представителемъ поэта, влюбленнаго весьма неудачно, пользовавшагося счастьемъ лишь очень короткое время. Его стихи изображаютъ преданность, поруганную измѣной, страданія несчастнаго обманутаго и отвергнутаго поклонника. Онъ покидаетъ свою возлюбленную, покинутый ею. Прежде чѣмъ наказать вѣроломство презрѣніемъ, онъ разливается въ просьбахъ о возвращеніи взаимности, испытывая при этомъ много униженій. Изображеніе такой печальной страсти должно быть полнымъ интереса, разнообразія, литературныхъ эффектовъ. Въ самомъ дѣлѣ, счастливый любовникъ самодоволенъ, слѣдовательно неприятель; его воображеніе, не разжигаемое тревогой за счастье, крайне узко, потому что ничѣмъ не наполнено кромѣ образовъ чувственныхъ сценъ. Между тѣмъ настроеніе неудачника измѣнчиво и положеніе богато драматизмомъ. То его сердце согрѣется надеждой и онъ начинаетъ мечтать о счастья, то колышетъ подозрѣніе, воздушные замки рушатся, онъ плачетъ, готовъ проклинать; онъ вѣчно на сторожѣ, страдаетъ, борется съ собой, словомъ, живетъ всѣми

нервами. Присовокупимъ къ этому способность поклонника къ серьезному чувству, обрисовывающуюся въ пренебреженіи къ уколамъ самолюбія, безпрестанно попираемаго невѣрной, его нравственную глубину, порождающую намѣреніе своимъ постоянствомъ обратить возлюбленную, какъ заблудшую овцу, на путь истины. Жизненность, страстность и одухотворенность являются отличительными качествами эротическаго творчества Тибулла.

Характеръ любви Кохановскаго горестень и главнѣйшіе мотивы его лирики носятъ несомнѣнную печать подражанія Тибуллу. Въ виду указанныхъ достоинствъ римскаго поэта, какъ пѣвца Деліи, нужно признать, что выборъ Кохановскаго имѣеть за собой значительныя художественныя основанія. Нельзя, впрочемъ, упускать изъ виду и эпохи, а также господствовавшаго въ XVI в. вкуса. Въ Италіи, гдѣ нашему поэту суждено было начать свое творчество, у поэтовъ-гуманистовъ были въ памяти знаменитые канцоны и сонеты Петрарки. Любовь, воспитанная основателемъ итальянскаго гуманизма, меланхолична, скорбна. Его Лаура „всегда является суровой и жестокой; его любовь не дѣлаетъ уснѣховъ, не имѣеть надеждъ, пишется илюзіями, можетъ представить себѣ блаженство на мгновенье, чтобъ тотчасъ-же возвратиться къ дѣйствительности. Это несчастная любовь, онъ всегда жалуется на нее, желаетъ скорѣе смерти, умѣеть только плакать“.¹⁾ Книга Петрарки вызвала много подражаній и создала петраркизмъ, какъ направленіе въ эротической поэзіи.

Увлекаемый классическими авторитетами болѣе, чѣмъ новоевропейскими, Кохановскій не сдѣлался сонетистомъ во вкусѣ итальянской школы, хотя и зналъ творенія поклонника Лауры²⁾. Однако установившаяся по инициативѣ Петрарки мода изображать несчастную страсть могла повліять и на Кохановскаго, такъ что, выбирая себѣ за образецъ Тибулла, онъ дѣйствовалъ не вопреки духу тогдашней любовной литературы. Къ этимъ чертамъ внутренняго сродства

¹⁾ Гаспарі. Исторія итальянской литературы. I, 391.

²⁾ Dziela, III, 187—8, Epigrammatum libellus: 6 и 7. Эпиграмма „In tumultum Franc. Petrarcae“ служитъ хорошимъ показателемъ того, что въ поэзіи Кохановскій всегда отдавалъ первенство античнымъ представленіямъ предъ новоевропейскими. Обращаясь къ Петраркѣ и Лаурѣ, онъ говоритъ: Nunc vos *Letheae* spatiantes margine *ripae Elisi* spectat plebs numerosa fori (Теперь, когда вы прохаживаетесь надъ берегомъ *Леты*, смотреть на васъ многочисленная толпа *элизейскихъ* обитателей).

между классикомъ и гуманистомъ нужно присоединить и формальное подобіе. Прежде всего къ общимъ явленіямъ, замѣчаемымъ у того и другого автора, надо отнести всевозможныя поэтическія фигуры, придающія рѣчи живость и разнообразіе, приемы, помогающіе усилению впечатлѣнія. Это такъ называемыя апострофы, фигуры противоположенія, постепенности представленія, анафоры и др. Но главное свойство Тибулла, которое усваиваетъ Кохановскій, состоитъ въ отсутствіи въ его элегіяхъ періодической рѣчи. Идеи, представленіе чувствъ, образы у него укладываются въ краткія сужденія. Отсюда вытекаетъ прекрасная простота и ясность представленія, которая въ выгодномъ свѣтѣ выставляютъ Тибулла сравнительно съ Проперціемъ, иногда гоняющимся за искусственной конструкціей.

Такова зависимость Кохановскаго отъ Тибулла въ отношеніи возрѣвній, рода изображаемыхъ чувствъ и слога любовной лирики.

Польскому поэту были знакомы и другіе элегички, какъ Проперцій, Овидій, Катуллъ. Вліяніе послѣднихъ двухъ ограничивается частными заимствованиями. Гораздо важнѣе по своимъ послѣдствіямъ знакомство Кохановскаго съ Проперціемъ. Этотъ писатель въ своихъ элегіяхъ къ Цинтіи даетъ нѣсколько блистательныхъ образовъ ея вышнихъ прелестей, ея женскихъ чаръ и средствъ оболщенія. Тамъ, гдѣ Кохановскій восхищенно описываетъ красоту и дарованія своей возлюбленной, онъ несомнѣнно слѣдуетъ Проперцію. То же самое вліяніе сказывается, когда нашъ авторъ проникнуть противоположнымъ настроеніемъ и порицаетъ обликъ, прежде столь радовавшій его взоры.

II.

Послѣ этой общей характеристики школы¹⁾, къ которой примкнулъ занимающій насъ поэтъ, перейдемъ къ обзорѣнію содержанія его любовной лирики. Мы увидимъ, что всѣ подробности ея внутренняго механизма созданы по классической модели.

Прежде всего опишемъ приемы автора при изображеніи героини его романа, затѣмъ рассмотримъ отношенія къ ней со стороны поклонника.

¹⁾ Elegije łacińskie J. Koch. w stosunku do rzymskich wzorów. Статя Павликовскаго: Rozpr. i Spawozd. w. filol. A. Um. t. XII, 143—191.

Итакъ, какими чертами обрисовалъ Кохановскій виновницу своего лирическаго вдохновенія?

Чтобы вызвать въ читателѣ представленіе о необычайной красотѣ бога или прелести любимой особы, классическіе авторы пользуются сравненіями и фигурами. Тибуллъ въ 4 эл. 3 кн. описываетъ божественную красоту Феба выраженіями въ родѣ слѣдующихъ: блескъ, исходящій отъ него, подобенъ блеску луны; пурпурный оттѣнокъ на бѣлоснѣжномъ тѣлѣ напоминаетъ стыдливый румянецъ невѣсты, отдаваемой жениху и т. п. Образность, примѣняемая при композиціи подобныхъ литературныхъ портретовъ, усиливается вызвать то же чувственное ощущеніе, что и картина, писанная красками: звѣздный блескъ, розовый цвѣтъ, золотой отливъ, сверканіе перловъ—все пускается въ ходъ, лишь-бы дать образъ физическихъ совершенствъ милаго существа. Мало того. „Для довершенія чуда“ авторъ выводитъ предъ вами цѣлую галерею знаменитыхъ красавицъ, чтобы при сопоставленіи съ ними отдать пальму первенства своему идеалу. Подобный приѣмъ употребилъ Проперцій, во 2 эл. 1 кн. расхваливая свою Цинтію. По установленному, точно вывѣренному рецепту, изваялъ и Кохановскій фигуру Лидіи. Онъ возымѣлъ мысль представить царицу своего сердца, какъ небывалое явленіе въ мірѣ. Таковы гиперболическія похвалы, разсѣянные имъ щедрой рукой въ элегіяхъ и пѣсняхъ. „Та, что не позволяетъ душѣ моей уснуть, хоть и не дочь Юпитера, но красотой равна Героидамъ“ (1 кн., 1 эл. 19—20 ст.) „Лице ея какъ снѣгъ, волосы—золото, глаза—звѣзды, а величественной осанкой она напоминаетъ древнихъ богинь. Ходить-ли она, смѣется, иль говоритъ,—видно, что носить поясъ Венеры“ (13—16 ст. 6 эл., 1 кн.). По его мнѣнію, Венера, Паллада и Юнона уступили-бы ей, сконфузились-бы, если-бъ она явилась къ Парису четвертой соискательницей золотого яблока (10 п., 2 т., 274 стр.). Если богини не выдержали конкуренціи съ возлюбленной Кохановскаго, то нечего и говорить, что смертныя женщины тѣмъ скорѣе проиграли-бы въ сравненіи съ ней. „Пусть никто не соперничаетъ съ моей милой, будь онъ даже Крезъ и повелитель, знаменитый обширностью владѣній. Какъ-бы ни была красива Гишодамія, ... или та, изъ-за которой вступали въ ожесточенную схватку Лапиды съ полудикими центаврами, или та, что надъ брегами родного Эвена побудила Феба къ бою съ ея смертнымъ супругомъ, или тѣ, ради коихъ Юпитеръ принималъ видъ жолтаго золота, быка или птицы: красотой своей

Лидія достойна сравняться съ ними и скорѣе превзойдетъ, чѣмъ уступитъ имъ побѣду (1 кн. 6 эл., 1—12 ст.). Пусть же не хвастаются стародавнія времена со своими Еленами (9 п. 2 т. 473 стр.). Не въ выигрышѣ и современницы Лидіи. Всѣ красивыя женщины, которыхъ онъ гдѣ-либо встрѣчалъ, забыты имъ (1 кн. 6 эл. 23—24 ст.).

Już mi z myśli wypadły te obecne twarzy:
Twoje nadobne lice jest podobne zarzy,
Która nad wielkim morzem rano się czerwieni,
A z nienagła ciemności nocne w światłość mieni:
Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają,
I tak już przyszłej nocy nieznacznie czekają¹⁾.

Будущимъ временамъ также отказано въ надеждѣ на появленіе такой же красоты (9 п. 2 т. 473 стр.).

Панегирикъ не исчерпывается воспѣваніемъ наружности возлюбленной.

Связь Проперція съ Цингіей основывалась не на одной лишь тѣлесной ея привлекательности, но также и на духовной красотѣ римлянки, усвоившей нѣкоторыя изящныя искусства тогдашней образованности. Ея художественный вкусъ простирался далѣе умѣнья къ лицу одѣться или убрать волосы, дальше женскихъ рукъ дѣлій; она знакома съ литературой, пѣніемъ, игрой на арфѣ. Отношенія къ ней со стороны Проперція проникнуты внутренней любовью, которую онъ самъ обозначилъ, какъ неизсякаемый источникъ своей поэзіи.

Въ подражаніе ему Кохановскій надѣляетъ свою Лидію тождественными достоинствами. Паллада научила ее женскимъ искусствамъ. „Нѣтъ другой, которая въ равной степени любила-бы пѣсни піерійскихъ музъ; подумаешь, — Сирена поетъ, когда она звучь сладкихъ словъ соединяетъ съ аккомпаниментомъ орфической лиры“

¹⁾ Эти лица нашихъ временъ у меня исчезли изъ мысли:
Твое прелестное лицо подобно зарѣ,
Которая утромъ алѣетъ надъ великимъ моремъ,
Неожиданно смѣняя ночную тьму свѣтомъ;
Предъ ней блѣднѣютъ по одной мелкія звѣзды
И незамѣтныя ожидаютъ будущей ночи.

(6 эл. 1 кн. 17—26). Свѣтлый очеркъ качествъ эстетически развитой личности дополняется похвалою ея добродѣтели. Она отличается скромностью, откровенностью сердца, при томъ-же совѣсьмъ свободна отъ корысти, такъ какъ не поддалась искушеніямъ богачей, предпочтя бѣдную избу поэта пурпурному ложу (3 кн. VI эл.). Въ польскихъ пѣсняхъ поэтъ одинаково высокаго мнѣнія о благородствѣ, какъ и о красотѣ ея. Она не только красивѣе другихъ, но и въ нравственномъ отношеніи выше: какъ золото приобретаетъ двойную стоимость, если служитъ оправой изумруду, такъ ея тѣло выигрываетъ отъ присутствія въ немъ благородной души.¹⁾

III.

Теперь дадимъ мѣсто такимъ сюжетамъ любовной лирики Кохановскаго, въ которыхъ сквозитъ чувство ничѣмъ не возмущаемой преданности его госпожѣ своего сердца, сила любви его къ своему идеалу.

Любовь, испытываемая поэтомъ, самая горячая, самая неизмѣнная, короче,—она не угаснетъ вплоть до его смерти: „*jaściem twój był, jako żywo, i twoim zginę*“ (8 п., 2 ст., 1 т., 277 стр.). Милая такъ ему дорога, что ради нея онъ готовъ на геркулесовскіе подвиги. Почти въ тѣхъ-же словахъ, что и Проперцій²⁾ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ своихъ произведеній, онъ заявляетъ: „Пусть она прикажетъ— и я охотно брошусь на дикихъ гидръ, на отважнаго звѣря; выграду яблоки, охраняемыя гесперійскимъ дракономъ, укрошу три головы адскаго пса“ (1 эл. 25—28, 1 кн.). Слѣдуя Тибуллу, онъ иначе не называетъ возлюбленной, какъ „*domina*“, ея власть надъ нимъ именуется „*imperium durum*“, жестокой властью, силу привязанности къ ней приравниваетъ къ „*invicta compes*“, неразрывнымъ узамъ (*ibid*, 35—36; у Тибулла: *vinculum, servitium, domina* въ II кн., IV эл., 1—4). Какъ и римскій лирикъ (I кн. 2 эл., 59—60), онъ не вѣритъ

¹⁾ Nie tylkoś nad insze gładszą się urodzila
Aleś i zwyczajmi twarzy nic nie zelzyła;
A jako wdzięcznie szmarakiem złoto się dwoi,
Tak tej szlachetnej duszy w tym ciele przystoi.

Пѣснь VIII, 5—8, 1 т., 277.

²⁾ III кн. XXIV эл.

тѣмъ, которые утверждаютъ, будто отъ такой жаркой страсти можно излечиться пѣснью или волшебными ядами: „Снесите ихъ всѣ сюда, снесите всѣ яды, какими только богатъ Пиндъ, Отрисъ и высокой Эриксъ. Пока она не перестанетъ мнѣ казаться столь красивой, нисколько не помогутъ ни зелья, ни чары ваши“. (ib 39—44). Постоянное лицезрѣніе предмета страсти дѣлается однимъ изъ главныхъ условій сердечнаго спокойствія влюбленнаго Тибулла. Вторя его настроенію, Кохановскій согласно съ 51—52 ст. 1 эл. I кн. римскаго образца утверждаетъ, что въ немъ не найдетъ себѣ подражателя тотъ, кто ради прибыльнаго предпріятія покидаетъ свою возлюбленную, хотя бы на время. „Могъ-ли бы я глядѣть на рыдающую дѣву..., когда въ изступленіи она начала-бы терзать мой слухъ жалобами и гнѣвной рукой ранить себѣ лицо“ (4 эл., I кн., 24—28). Если радостная готовность быть при милой даже въ ущербъ денежнымъ интересамъ объясняется просто нежеланіемъ причинить ей огорченіе, то другія услуги поэта вытекаютъ изъ намѣренія доставить ей прямое удовольствіе. Поклонникъ-гуманистъ не забываетъ, что благодаря своему дару пѣснопѣнія онъ можетъ сдѣлать возлюбленную предметомъ поэтической идеализаціи и такимъ образомъ уготовать ей выгодную извѣстность и среди современниковъ, и въ отдаленномъ потомствѣ. Ея красота навѣки можетъ быть избавлена отъ печальнаго забвенія, если съ ея именемъ будетъ связано возникновеніе звучныхъ стиховъ. Съ точки зрѣнія гуманиста для женскаго тщеславія не можетъ быть ничего лестнѣе, какъ признаніе поклонника, что лишь любовь къ ней создала изъ него поэта, научила его слагать сладостные стихи (I кн. 1 эл. 1—4 ст.), что вся прелесть этихъ стиховъ исключительно внушена ею (I кн. 6 эл. 25 ст.). Эту точку зрѣнія Кохановскій усвоилъ у Проперція.

Послѣдній на вопросъ друзей, откуда у него берется такой неизсякаемый запасъ вдохновенія, отвѣчаетъ приблизительно такъ. Есть много поводовъ, чтобы загоралось его воображеніе: играетъ-ли Цинтія на лирѣ, видитъ-ли онъ локонь, небрежно и гордо повисшій надъ ея челомъ, смыкаетъ-ли она утомленные глаза или стоитъ предъ нимъ въ блестящей одеждѣ,—цѣлая Иліада зарождается въ его умѣ; что-бы она ни сдѣлала, что-бы ни сказала,—изъ ничего возстаетъ большая исторія. Итакъ, Проперцій не придумывалъ сюжетовъ, чтобы наполнить томики своихъ стихотвореній.

Мелкія явленія изъ жизни съ возлюбленной давали его впечатлительной натурѣ цѣлое богатство поэтическихъ замысловъ. Эту мысль онъ и выразилъ въ духѣ античнаго міровоззрѣнія. *Non haec Calliope, non haec mihi cautat Apollo; ingenium nobis ipsa puella facit.*

Прославленіе красавицы было своего рода данью, которую поэтъ платилъ за расположеніе къ себѣ.

Сознаніе, что милая питаетъ отвѣтное чувство, наполняетъ душу поэта такимъ счастьемъ, даетъ столь полное удовлетвореніе ея запросамъ, что тамъ болѣе не остается мѣста никакому другому чувству или желанію. Любовь дорогой особы способна скрасить всѣ житейскія невзгоды, бѣдность, скромность земного жребія, вознести выше всѣхъ благъ, выше царей. По настроенію своему Кохановскій напоминаетъ въ этомъ случаѣ Тибулла, Проперція и третьяго поэта, философа умѣренности, Горація. Тирады его на эту тему построены по классическому образцу ¹⁾ и по способу выраженія похожи одна на другую.

„Пусть иной, покоривъ врага, ѣдетъ на великолѣпныхъ коняхъ на удивленье толпѣ народа, пусть ведетъ плѣнныхъ царей, пусть отнятыя у Пароянъ знамена повѣситъ въ отечественныхъ храмахъ: если ты, Лидія, ласково посмотришь на меня, ни во что не ставлю славу побѣды надъ Скиеіей, цвѣтущее государство древняго Аліата, богатства, которыми сльветъ урожайная Азія“. ²⁾ „Одинъ собираетъ богатства и возлегаетъ на горахъ золота, другой великъ заслуженными почестями, тотъ торжествуетъ триумфъ надъ побѣжденнымъ непріателемъ; этотъ увѣренъ въ могущество своего краснорѣчія; всѣмъ пренебрегъ я въ надеждѣ на твою любовь, свѣтикъ мой, ты—мое сокровище, ты—слава, ты—единственная гордость“. ³⁾

Приемъ извѣстный: на одну чашку вѣсовъ кладется все, что можетъ разжечь человѣческую алчность и честолюбіе: груды золота, слава побѣдителя, великолѣпіе царской власти, громкая ораторская популярность; весь этотъ громоздкій и пышный грузъ перетягивается другой чашкой, на которой покоится счастливое чувство обладанія

¹⁾ 1 кн., 2 эл., 67—72 и 1 кн., 1 эл. 1-й и слѣд. ст., Тибуллъ.

²⁾ 1 кн., 12 эл., 25—32.

³⁾ 3 кн., 3 эл., 11—16.

Лидіей. Поэтъ постоянно пускаетъ въ ходъ эту фигуру противоположенія, когда хочетъ сказать, что любовь къ Лидіи ставитъ выше завиднѣйшихъ удѣловъ, возможныхъ для человѣка. „Пусть иной плаваетъ къ Аѳону, попираетъ море конскими копытами, пусть себѣ выпьетъ рѣки и моря; пока ты ко мнѣ благосклонна, пока и ты исполнена взаимной заботы обо мнѣ, нисколько не завидую блестящимъ скипетрамъ царей. Съ тобой не тяжело мнѣ твердымъ плугомъ переворачивать землю, ни гнать на пастбу скоть. Что мнѣ въ деньгахъ оплачиваемыхъ вѣчными заботами, или въ раковинахъ, найденныхъ въ эритрейскомъ морѣ. Вздошной души не излечить никакая уйма золота“...¹⁾

Самымъ любимымъ представленіемъ Кохановскаго было полное идиллической мечтательности представленіе о золотой порѣ человѣчества, когда люди жили близко къ природѣ, незнакомые съ излишествами городской жизни, и среди сельскихъ занятій наслаждались любовью. Именно любовь на фонѣ мирной деревенской жизни и представляется воображенію Кохановскаго верхомъ блаженства. Подъ зноемъ лѣтняго солнца онъ будетъ трудиться ради своей милой, а она, госпожа его сердца,—безотлучно при немъ. Таковы мечты влюбленнаго. Какъ мы уже упоминали, въ эротической литературѣ главнымъ выразителемъ подобныхъ чувствъ является Тибуллъ. Его элегии богаты мыслями о пріятности сожительства съ возлюбленной среди лѣсовъ и полей.

Подъ вліяніемъ этого постояннаго тибулловскаго налѣва создается существенный мотивъ любовной лирики Кохановскаго. Его выраженію посвящена 13 эл. 1 кн. Отношенія между поэтомъ и возлюбленной въ цвѣтущемъ состояніи. Лидія покидаетъ ненавистный городъ. Поэтъ высказываетъ страстную надежду, что она навсегда поселится въ просторныхъ поляхъ, будетъ насыщать свои взоры зрѣлищемъ лѣсовъ и слушать пѣніе птицъ, а онъ, довольный ея присутствіемъ возлѣ себя, съ помощью Амура станетъ заниматься хозяйствомъ и т. д.

Таковы сюжеты любовныхъ стихотвореній, отражающіе свѣтлое настроеніе поэта: этотъ радостный тонъ и ѳиміамъ комплиментовъ какъ-бы улетучивается съ переменной характера отношеній къ воз-

¹⁾ III кн., 1 эл., 39—47; напоминающая 3 эл. 3 кн. Тибулла.

любленной. Мы обратимся сейчас къ темамъ печальнымъ, даже мрачнымъ, представляющимъ контрастъ по отношенію къ только что разсмотрѣннымъ.

IV.

Съ потерей взаимности поэтъ перестаетъ смотрѣть на возлюбленную съ чувствомъ восхищенія. Ужъ и красота ея кажется ему поддѣльной и ея нравственность нигуда пегодной. Онъ приходитъ къ открытію, что его стихи—голая, не разборчивая лесть, превращавшая размалеванную дѣву (II т. 380 стр. 51 фр.) въ ангела, въ нѣжное созданіе, цвѣтъ лица котораго напоминаетъ румяную зарю.

Распущенную кокетку онъ надѣлялъ эпитетами величайшаго почтенія „святая, благородная“, какъ будто Лукрецію или Пенелопу ¹⁾. Онъ досадуетъ на свои преувеличенія.

Чтобы отчасти утолить свой гнѣвъ, онъ объявляетъ, что его поэтическіе дары шли не отъ чистаго сердца; всѣ тѣ лиліи и розы, которыми поклонникъ украсилъ милую, попираются ногами; царица сердца вмѣсто похвалъ и комплиментовъ осыпана градомъ сарказмовъ.

Próżna twa chluba, nie Kochaj się w sobie;
Nie wszystko prawda com pisał o tobie.
Miłość mię zwiódła i przez mię mówiła,
Że nad cię nigdy wdzięczniejsza nie była.
Jako lelija różą przeplatana
Zdała mi się twarz twoja malowana:
Oczy twe jako gwiazdy się błyskały:
Pierśi twe śniegu sromotę działały:
Teraz w mych oczach wszystko się zmieniło... ²⁾

¹⁾ Równalem często jej pleć ku rumianej zarzy,

A ona kramną barwę nosiła na twarzy;

Chwalilem jej niegodne chwaly obyczaje

Więc mi też mą nieprawdę fałszem dzis oddaje.

²⁾ Твоя хвастливость напрасна, не любуйся собой; не все правда, что я о тебѣ писалъ. Любовь очаровала меня, она говорила моими устами, будто нѣтъ прекраснѣ тебя женщины. Твое накрашенное лицо казалось мнѣ смѣшенемъ лилій и розъ. Очи твои блистали какъ звѣзды, твоя грудь посрамляла бѣлизну снѣга. Теперь все измѣнилось въ моихъ глазахъ...

Нѣтъ ничего естественнѣе, что свои панегирики и учтивости Кохановскій опровергъ этими стрѣлами. Въ противномъ случаѣ, онъ не былъ-бы подражателемъ. У его авторитетовъ ходъ романа именно таковъ: сначала взаимность и возведеніе возлюбленной на пьедесталь, потомъ разоблаченіе измѣны и разочарованье. Пылкая страсть Катутла къ Лесбіи смѣняется омерзеніемъ. Отношенія Проперція къ увлекавшей его женщинѣ испытываютъ такую-же метаморфозу. Въ 23 эл. 3 кн. Проперцій уничтожаетъ презрѣніемъ то, чему раньше поклонялся. Эта раздѣлка послужила Кохановскому примѣромъ для подражанія: такъ возникло его порицательное стихотвореніе.

Крутая переѣна въ настроеніи поэтовъ объясняется измѣной и паденіемъ ихъ героинь. Раскрытіе распущенности и легкомыслія возлюбленной охлаждаетъ восторгъ поклонника, обиженная преданность послѣ долгаго испытанія раздражается мстительными стихами которые имѣютъ цѣлю смыть позолоту съ любимаго нѣкогда образа, обнаружить его естественную неприглядность.

Изучая крушеніе любовнаго счастья Кохановскаго, мы входимъ въ область представлений, навѣянныхъ Тибулломъ. Элегія 10-я 1 кн., несомнѣнно возникшая вслѣдствіе богатой начитанности Кохановскаго въ названномъ римскомъ авторѣ, служитъ какъ-бы прелюдией къ начинающимся страданіямъ влюбленнаго. Сюжетъ ея: поэтъ терзается тоскливымъ чувствомъ ожиданія возлюбленной, которая обѣщала придти къ нему на свиданіе. Онъ проситъ мѣсяць и звѣзды не спѣшить къ закату, вставляетъ мифологическіе эпизоды о Калисто, объ Эндиміонѣ, къ которому спѣшила съ небесъ Феба, чтобъ положить его голову на своей божественной груди. Между тѣмъ свѣтаетъ. Приписывая проволочку ея заботамъ о нарядѣ, поэтъ, повторяя Тибулла, нетерпѣливо восклицаетъ, что ему дѣла нѣтъ до сидонійскихъ одеждъ и драгоценныхъ украшеній, пусть она придетъ къ нему непричесанная, neodѣтая, босая,—лишь-бы пришла ¹⁾).

Обманутыя ожиданія внушаютъ подозрѣніе въ измѣнѣ, постепенно оправдывающееся. Самообладаніе оставляетъ его. Онъ выдаетъ себя вздохами и блѣдностью лица ²⁾. Всякому прохожему понятно, что „hic miser amat“ ³⁾. Цѣлыя ночи проводитъ онъ у запертыхъ воротъ

¹⁾ 5—10 ст. У Тибулла I, 2 кн., 15—22.

²⁾ 14 эл. 1 кн., 5—8. Взято у Тибулла 6 эл., 3 кн., 33—36.

³⁾ Ibid. 12 ст.

жилища возлюбленной съ боязливой мыслью подкараулить выходъ оттуда негоднаго соперника ¹⁾). Это выслѣживанье привело къ печальному открытію. Въ 5 эл. 2 кн. (21—25 ст.) встрѣчается признаніе, являющееся отраженіемъ многихъ подобныхъ мѣстъ элегій Тибулла. „Венера научила меня переносить всякіе труды, для меня нѣтъ ничего новаго въ любви, я научился спать подъ негостепріимнымъ порогомъ, когда зимній вѣтеръ хлещетъ дождемъ, умѣю болѣе счастливому уступать мнѣ обѣщанныя ночи“...

Кто-же могъ быть соперникомъ поэта? Кто тотъ злой человѣкъ, который, по выраженію Кохановскаго, какъ воръ, пробрался въ взлелѣянный имъ виноградникъ и оборвалъ тамъ ягоды? ²⁾. Имъ могъ-быть всякій, кто располагалъ золотомъ, потому что возлюбленная Кохановскаго, какъ оказалось, смотрѣла на всѣхъ ухаживателей, какъ на покупателей. Матеріалистически-грубый характеръ ея взятъ поэтомъ изъ тибулловыхъ элегій.

Какъ извѣстно, возлюбленная римскаго элегика, ради которой онъ готовъ былъ на всѣ жертвы, даже на смерть, измѣнила ему, выйдя замужъ за другого изъ жажды богатства. Этотъ бракъ рисуется ея женщиной, для которой любовь перестала быть цѣлью, а сдѣлалась средствомъ. Такой именно она выступаетъ въ стихотвореніяхъ своего несчастнаго поклонника. Она неспособна къ безкорыстной привязанности и вымогаетъ плату. Ей нужно золото, чтобъ удовлетворить страсти къ роскошной жизни, къ пурпурнымъ шерстянымъ тканямъ, блеску слоновой кости, изумрудовъ, жемчужинъ. Поэтъ не въ состояніи приносить красавицѣ иныхъ подарковъ кромѣ стихотворныхъ посвященій, а потому потерялъ въ ея глазахъ всякое значеніе. Ему нѣтъ доступа къ милой. Чтобъ избавиться отъ безполезнаго и притязательнаго обожателя, она дѣлаетъ изъ своего жилища крѣпость, приставивъ къ дверямъ въ качествѣ гарнизона сторожа и чуткихъ, злыхъ собакъ. Черты, сгруппированныя въ 4 эл. 2 кн. Тибулла, повторяются у Кохановскаго, служа характеристикой нравственности его милой.

„Бѣда моя,—воскликаетъ онъ,—что одновременно съ тѣмъ, какъ я увидѣлъ твое лицо (Лидія), не разсмотрѣлъ твоего ума и

¹⁾ Ibid. 13—14.

²⁾ Въ 12 н. 1 т. 283: Поэтъ при помощи этого образа рисуется свои полныя нѣжной заботливости отношенія къ милой и неожиданную потерю ея взаимности.

твоихъ правилъ (mores)¹⁾. Забывая, что славой своей красоты она обязана перу поэта, она, вѣроломная, покинула его²⁾. Впрочемъ, не стихами, а деньгами оплачивается теперь любовь. „Въ наше время, куда ни оглянись, нигдѣ пѣвучія Музы не пользуются почетомъ, искусства въ пренебреженіи, однимъ тѣмъ честь, у кого весь умъ и вся красота въ денежной шкатулкѣ“. Для такихъ не существуетъ запертыхъ дверей и несносной своры чуткихъ псовъ. „А меня съ моими Музами негодная дѣва заставляетъ стоять у замкнутыхъ воротъ. Меня гонить песь и отталкиваетъ привратникъ“³⁾. Еще болѣе позорными чертами изображается предметъ страсти Кохановскаго въ 14 эл. 1 кн. и 25 п. 1 т. стр. 299—301. Въ первой нѣсколькими намеками обрисовывается фигура соперника въ любви, счастливаго обладателя красавицы. Еще недавно поэтъ, проходя по городу, видѣлъ, какъ онъ съ клеймомъ рабства на ногѣ, подъ палочными ударами хозяина, чистилъ каналъ. Сегодня этотъ вчерашній невольникъ, негодий, обогатившійся грабежомъ, побѣдоносно распоряжается покорной ему дѣвой. Это—типъ античнаго происхожденія, равно какъ и низменная дѣва, отдавшаяся бывшему рабу. У Тибулла встрѣчается характерное для его эпохи саркастическое изреченіе: „Nota loquor regna iste tenet, quem saepe coëgit barbara gipsatos ferre castasta pedes“. Это—выхода противъ неимовѣрнаго паденія женской нравственности во времена поэта, но не указаніе на то, что онъ самъ былъ поставленъ ниже раба. Между тѣмъ у польскаго поэта—рабъ выступаетъ личнымъ его соперникомъ⁴⁾.

Въ 25 п. 1 т., не особенно счастливой по замыслу, который впрочемъ составляетъ собственность Проперція, а не Кохановскаго, ворота приносятъ длинную жалобу на то, какъ пьяные, развратные поклонники хозяйки жилища немилосердно разбиваютъ ихъ молоткомъ каждую ночь, добиваясь пропуска.

Ворота наивно или ужъ слишкомъ умно для себя поясняютъ: „это не тайна, что мы страдаемъ не по своей винѣ, всему причиной—распущенная хозяйка, которая ударилась въ такую жизнь, что забыла и стыдъ и добрую славу“.

¹⁾ 2 кн., 6 эл., 5—6.

²⁾ Ibid. 15—16.

³⁾ 8 эл. 1 кн., 19—27.

⁴⁾ 25—28 ст.

Какъ-бы отчаявшись въ благородствѣ сердца милой, поэтъ обращается къ ея здравому смыслу. Если постоянство не можетъ-быть выраженіемъ ея признательности къ нему, тѣмъ менѣе ея добродѣтелию, то пусть будетъ практическимъ правиломъ жизни. Красота не вѣчна. Завистливая старость уничтожить ея слѣды. Минетъ счастье — увянетъ и любовь. Платная любовь не сопровождается благодарностью. Нельзя вѣрить богатому любовнику. Заплативши, онъ уходитъ свободнымъ. Напрасно звать къ нему, когда съ ея лица исчезнетъ милый румянецъ. Тогда-то она начнетъ винить себя за легкомысліе и безразсудно потерянную юность, тогда-то съ ея устъ сорвется горестный стонъ. Но не найдется въ черную минуту никого, кто-бы даже похоронилъ ея кости (1 кн. 8 эл., 33—38; 1 кн. 14 эл. 55—50; 1 т., 1 кн. 15 п., 19—28). Такимъ постояннымъ другомъ, повлочникомъ до гробовой доски, обѣщаетъ быть отодвинутый ею на задній планъ бѣднякъ—поэтъ. Его не измѣнятъ ни долгіе часы взаимности, ни превратности судьбы. Даже праху его она будетъ дорога (1 кн. 14 эл. 59—60).

Эти сентенціи, совѣты и увѣщанія писаны Кохановскимъ какъ-бы на текстъ изъ Тибулла: „Vidi jam juvenem premeret cum senior aetas maerentem stultos praeteriisse dies“ (4 эл. 1 кн., 33—34).

У поэта остался въ распоряженіи еще одинъ ресурсъ—измѣчивость фортуны. Поэтъ можетъ снова получить взаимность: еще такъ недавно его сегодняшній соперникъ мерзъ подъ холоднымъ ливнемъ, а его милая дѣва приклоняла къ своему лону. Роли могутъ опять переимѣниться¹⁾. Этотъ мотивъ слабой надежды Кохановскій заимствуетъ у Тибулла.

Но надежда на благоразуміе возлюбленной не оправдалась. Приятный вѣтеръ не подулъ въ сторону неудачника.

Поэтъ чувствуетъ, что обидно для его самолюбія находится въ положеніи просителя, котораго встрѣчаетъ постоянно холодный отказъ. „Братская жизнь не любитъ долгой надежды“²⁾. Въ его душѣ созрѣваетъ мужественное рѣшеніе покинуть возлюбленную. Элегія, пронизанная этой идеей, составлена въ главныхъ своихъ частяхъ по Тибуллу (3 кн. 6 эл.). Она представляетъ изъ себя обращеніе къ Бахусу. Этотъ богъ, покровитель жизнерадостнаго веселья, поможетъ

¹⁾ 1 кн., 14 эл., 15—20.

²⁾ Кн. 2, эл. 2, 17 ст.

заглушить сердечный огонь, разожжённый неумолимой Венерой: „Прощай, жестокая дѣва! Ни муза моя, ни любовь, ни рѣдкая вѣрность не могли тебя смягчить; уже я рѣшилъ не быть рабомъ спѣсивой, не гоняться за той, что враждебно уклоняется отъ меня“ (2э л. 25—28 ст. 2 кн.). Впрочемъ, послѣ энергическаго возмущенія натура поэта ослабѣваетъ. Первые шаги человѣка, съ котораго недавно сняли оковы, неуверенны: оковъ нѣтъ, но онъ продолжаетъ ихъ чувствовать. Попытка поэта раздѣлаться навсегда съ пагубной страстью парализуется колебаніемъ. Слишкомъ еще живы въ его памяти образы былыхъ сладкихъ сновъ, счастливыхъ минутъ¹⁾. Это состояніе души, раздражаемой двумя противоположными чувствами, Тибулль пластически рисуетъ образомъ Титія, который, по мифическимъ сказаніямъ, распростершись, кормил своими внутренностями двухъ хищныхъ птицъ. Въ подражаніе римскому классигу тотъ-же образъ появляется и у Кохановскаго²⁾. Борьба любви и гнѣва является послѣднимъ драматическимъ моментомъ, которому поэтъ отводитъ мѣсто въ эротическихъ стихотвореніяхъ. Вслѣдъ за тѣмъ по естественной градаціи чувствъ идетъ равнодушіе къ прежнему кумиру. Хладнокровію научаетъ поэта Венера. Она явилась Кохановскому во снѣ, чтобъ слегка попрекнуть за недостатокъ въ немъ признательности къ возлюбленной, когда-то доставившей ему много счастья, за чрезмѣрную требовательность, которая умѣстна лишь въ мужѣ по отношенію къ женѣ. Этотъ сюрпризъ со стороны богини имѣлъ довольно благопріятныя послѣдствія, такъ-какъ поэтъ въ концѣ элегіи (2 кн., 4) замѣчаетъ, что, очнувшись отъ забытья, онъ почувствовалъ успокоеніе въ своихъ горестяхъ. Античная оболочка идеи примиренія съ участіемъ забытаго поклонника носитъ слѣды подражанія Тибуллу, который изъ удрученнаго состоянія былъ выведенъ покровителемъ поэтовъ—Фебомъ (4 эл. 3 кн.). У Кохановскаго мотивъ исцѣляющаго сновидѣнія встрѣчается еще разъ въ 11 эл. 2 кн. Одержимый тоской по милой, поэтъ долго не можетъ уснуть. Лишь „когда заблистала огненный факель восходящаго Феба“, охватилъ его сонъ³⁾. Въ грезахъ представилось ему божество. Оно увлекло поэта на Левкатейскую гору, подавая совѣтъ броситься оттуда въ море; вынырнувъ изъ воды,

¹⁾ Ibid., 31—34.

²⁾ 2 кн., 3 эл. 29—32.

³⁾ 4 эл., 3 кн., Тибулль.

онъ долженъ излечиться отъ тяжелой страсти навсегда. Въ моментъ паденія поэтъ проснулся и, придя въ себя, обратился съ горячей мольбой къ богамъ объ осуществленіи сна.

Вопросъ о литературномъ вліяніи римскихъ образцовъ на любовную поэзію Кохановскаго въ главныхъ чертахъ исчерпанъ. Добытыхъ результатовъ, повидимому, достаточно для настойчиваго утвержденія, что мотивы разсматриваемой лирики можно объяснять какъ подражаніе древнимъ писателямъ, вовсе не рѣшая головоломной задачи, каково ея жизненное происхожденіе.

V.

Однако нѣкоторые изслѣдователи произведеній Кохановскаго вѣрятъ въ интимность любовной поэзіи и пытаются изъ подъ прикрытія художественной формы обнаружить тѣ реальныя впечатлѣнія, подъ вліяніемъ которыхъ она возникла. Подчеркиваютъ прежде всего тотъ фактъ, что самъ поэтъ то въ формѣ монолога, то въ видѣ исповѣди предъ другомъ, то подавая кому-то совѣтъ, проводитъ предъ глазами читателя рядъ свидѣтельствъ объ испытанной имъ когда-то страсти. Уже пожилымъ, глядя на свой юношескій портретъ, поэтъ вспоминаетъ былое настроеніе: „Такимъ я былъ, когда воспѣтая въ моихъ стихахъ Лидія, томила меня медленнымъ огнемъ любви. Я боялся, какъ-бы художникъ, начиная рисовать мое лицо, не изобразилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и моихъ стонувъ (Epigrammatum libellus, 35). Въ другомъ признаніи снова слышится отголосокъ какого-то нелегкаго увлеченія юности: „Любовь—тяжелая болѣзнь: и я, мой Фаустъ, хоть теперь и не влюбленъ, до сихъ поръ еще мучусь, потому что нѣкогда любилъ (Epigr. lib., 24). Изъ сѣтей тяжелой, болѣзненной страсти—какъ можно судить по 7 эл. 3 кн.—поэтъ освободился не собственнымъ починомъ, а благодаря дружеской рукѣ пріятеля Оссолинскаго, котораго онъ и поручаетъ особенной признательности потомства. Когда Кохановскій писалъ эти признанія, любовь для него была уже дѣломъ минувшихъ дней, воспоминаніемъ. Есть однако свидѣтельства, современныя самому любовному чувству. Это сердечныя изліянія предъ искреннимъ другомъ Андреемъ Нидецкимъ, написанныя въ горькомъ тонѣ на тему объ униженіяхъ, которыя принесла неудачная любовь. (2 кн., фразки 51 и 59 „Do Jędrzeja“).

По прочтеніи этихъ намековъ на совершившійся фактъ, изслѣдователь переходитъ къ стихамъ о любовныхъ отношеніяхъ съ готовымъ убѣжденіемъ, что имѣетъ въ своемъ распоряженіи въ формѣ эротическихъ латинскихъ элегій и польскихъ пѣсенъ рядъ историческихъ документовъ, наглядно рисующихъ связь юнаго Кохановскаго съ возлюбленной сердца. У біографа къ тому-же рождается и то вѣроятное предположеніе, что въ молодости Кохановскій непремѣнно былъ въ кого-нибудь влюбленъ. Понятно теперь усиленное стремленіе нѣкоторыхъ прозрѣть въ содержаніи любовной лирики указанія на мѣсто и время ея происхожденія, угадать теченіе любовныхъ эпизодовъ и подлинныя имена женщинъ, которыми увлекался Кохановскій. Однако нельзя обойтись безъ недоразумѣній и противорѣчій въ такомъ историко-литературномъ вопросѣ, гдѣ приходится датировать безъ прямыхъ бібліографическихъ указаній и дѣлать біографическіе выводы изъ матеріала, лишеннаго хронологической системы. Ученые, которыхъ мы ниже назовемъ, считаютъ совокупность эротической лирики Кохановскаго своего рода дневникомъ; но имъ хорошо извѣстно, что это—дневникъ съ перетасованными страницами, не полный и скупой на подробности. Это лабиринтъ общихъ мѣстъ, восхищеній и воплей разочарованія, въ которомъ трудноато разобраться. Впрочемъ, твердая увѣренность въ томъ, что предъ глазами памяти пережитаго поэтомъ чувства, придаетъ изслѣдователямъ энергію.

Первый, кто вошелъ въ разсмотрѣніе любовной лирики съ надеждой на достиженіе успѣшныхъ результатовъ, былъ Рафаиль Левенфельдъ. Въ своей монографіи (*Johann Kochanowski und seine lateinischen Dichtungen Posen, 1877 г.*) онъ выставилъ гипотезу о мѣстѣ написанія и дѣленіи любовныхъ латинскихъ элегій.

Любовныя произведенія принадлежатъ къ наиболѣе раннимъ проблескамъ лирическаго дарованія Яна Кохановскаго. Въ этомъ убѣждаетъ личное признаніе поэта: „Не музы сдѣлали меня поэтомъ... одна любовь научила меня слагать сладостные стихи“ (1 кн., 1 эл., 1—3). Первая молодость его прошла за границей (1552—1557). Тамъ и воспитался литературный талантъ польскаго гуманиста. Нѣкоторая доля любовной латинской лирики написана имъ, по мнѣнію Левенфельда, въ Падубѣ, гдѣ, какъ извѣстно, онъ проходилъ высшую образовательную школу, а другая часть, адресованная Лидіи,—въ Парижѣ, городѣ, который, по преимуществу, игралъ роль въ сердечной жизни его. Кохановскій нигдѣ прямо не говоритъ, что любовь

къ Лидіи его мучила во французской столицѣ. Къ такому утверженію Левенфельда приводитъ сопоставленіе нѣкоторыхъ данныхъ. Въ настоящее время эта гипотеза отвергнута. Дѣло въ томъ, что Левенфельдъ въ своихъ сужденіяхъ опирался на текстъ элегій, появившійся впервые въ печати въ 1584 г. Недавно доказано, что это изданіе представляетъ позднѣйшую редакцію элегій. Именно, въ 1891 г. въ жур. *Ateneum*, т. 2-мъ, напечатана была статья¹⁾ пр. Брюкнера, въ которой авторъ сообщаетъ объ открытомъ имъ въ Императорской публичной библиотекѣ спискѣ латинскихъ элегій отъ 1562 г. Находка важна въ двухъ отношеніяхъ. Во первыхъ, основываясь на ней, можно судить, съ какой постепенностью развивался поэтический даръ Кохановскаго. Поэтъ—мы наглядно убѣждаемся въ этомъ изъ приведенныхъ Брюкнеромъ данныхъ—много работалъ надъ красотой своего стиля. Разница между печатнымъ текстомъ и рукописной первоначальной редакціей, по свидѣтельству Брюкнера, такова.

Широковѣщательныя, ничего новаго не дающія описанія, безцвѣтныя сравненія, поэтъ либо опускаетъ, либо замѣняетъ болѣе живыми образами и картинами. Онъ ищетъ мѣткихъ эпитетовъ, удачныхъ выраженій, любитъ рельефно обрисовывать мысль антитезой, наклоненъ къ дидактическимъ разсужденіямъ, но вездѣ избѣгаетъ плоскости мысли и прозаичности языка. Далѣе. Предъ печатаніемъ Кохановскій подвергалъ свои прежнія произведенія передѣлкѣ, которая уничтожала *мѣстный и личный* колоритъ. Отсюда вытекаетъ вторая важная сторона открытія Брюкнера. Левенфельдъ и послѣдовавшій по его стопамъ извѣстный историкъ польской литературы Тарновскій²⁾ относили романъ съ Лидіей къ парижскому періоду жизни поэта; Брюкнеръ переноситъ его въ Падую и такимъ образомъ не признаетъ дѣленія элегій на двѣ группы. Въ традиціонномъ

¹⁾ Nowe przyczynki do dzieł Jana Kochanowskiego.

²⁾ Jan Kochanowski (Studia do historii literatury polskiej, wiek XVI), стр. 92.

Доводы Левенфельда: въ стихахъ, гдѣ говорится о любви, говорится и о возвращеніи на родину (Ел. III, 7). Поэтъ возвратился въ Польшу изъ Франціи въ 1557. Приблизительно въ томъ-же году написана элегія, въ которой упоминаніе объ отцѣ Карла V отъ престола (1556) связано съ описаніемъ любовнаго чувства къ Лидіи (3 кн., 11 эл.). Совпаденіе даты любовнаго романа съ годомъ возвращенія изъ Франціи ясно указываетъ мѣсто, гдѣ происходилъ романъ (Jan Koch., 15 стр.). Слабая сторона гипотезы: Левенфельдъ не доказалъ, что элегія 11-я 3 кн. была написана во Франціи; а въ этомъ и состоитъ весь вопросъ. Думать-же о возвращеніи на родину онъ могъ и въ Италіи.

печатномъ текстѣ тщательно сглажены всѣ слѣды, которые привели бы къ правдивымъ догадкамъ насчетъ мѣста происхожденія элегій; напротивъ, имѣющіяся тамъ указанія наводятъ прямо на ложныя соображенія. Такъ, въ эл. четвертой первой книги читаемъ, что ни слезы, ни мольбы возлюбленной не могли удержать Андрея Ницекаго отъ поѣздки за Альпы. Судя по 11-ой эл. 1 кн., Кохановскому очевидно предстояло послѣдовать примѣру своего пріятели; но онъ остался на мѣстѣ, уступая просьбамъ своей милой, и написалъ нѣжный отвѣтъ: „Не убивай меня, жизнь моя, своими жалобами, не столь меня мучитъ желанье видѣть *Италію*, чтобы ты изъ-за этого выплакала себѣ глаза“. Казалось-бы, что Кохановскій имѣлъ намѣреніе выѣхать за Альпы изъ Франціи. Между тѣмъ, читая рукописный текстъ Брюкнера, приходится измѣнить эту точку зрѣнія: здѣсь стоитъ „видѣть *Gallica regna*“¹⁾. Слѣдовательно, въ изданіи 1584 г. встрѣчаемъ позднѣйшую поправку, которая, что называется, отвела глаза читателю. Элегія писана въ Италіи предъ поѣздкой автора во Францію²⁾. Еще прямѣе указанія, заимствованныя Брюкнеромъ изъ другихъ элегій манускрипта. Въ печатномъ изданіи 6 эл. 2 кн. поэтъ говоритъ, что покинетъ городъ, гдѣ живетъ Лидія: глаза его не будутъ видѣть ненавистныхъ холмовъ; въ рукописномъ-же текстѣ сказано эвганейскихъ (падуанскихъ)³⁾. Въ 9 эл. 2 кн. мы, между прочимъ, узнаемъ, что разгоняя любовную тоску, поэтъ бродилъ „въ уединенныхъ мѣстахъ“; въ ранней-же редакціи сказано „по берегамъ Медуака“, т. е., *Vaschiglione*, рѣки, на которой стоитъ Падуя⁴⁾. Все это тропинки, по которымъ Брюкнеръ приходитъ къ выводу, что происхожденіемъ своимъ элегіи любовнаго содержанія обязаны падуанской жизни поэта, занявшей почти все время его пребыванія за границей. Пока дѣло шло только объ элегіяхъ.

Среди похвалъ, расточаемыхъ Лидіи, Кохановскій помѣстилъ и слѣдующую: „Если мои стихи дышатъ какой-либо прелестью, ей обязаны этимъ. Ей воссѣваетъ латинская, ей—молодая славянская Муза (1 кн., 6 эл., 25—26). Это мѣсто подало Брюкнеру мысль установить связь между любовными элегіями и значительной частью любов-

¹⁾ Nowe przyczynki, 8 стр.

²⁾ Если вскорѣ по отъѣздѣ Андрея Ницекаго, то въ 1556 г., осенью. (Ibid.).

³⁾ Ibid., 18.

⁴⁾ Ibid., 19.

ныхъ польскихъ стихотвореній. По его мнѣнію, всѣ тѣ польскія произведенія эротической музы Кохановскаго внушены любовью къ Лидіи, т. е., относятся къ падуанскому періоду, въ которыхъ встрѣчаются тѣ-же мотивы и идеи, что и въ элегіяхъ. Вкратцѣ онъ намѣтилъ мотивы, свойственные тому и другому отдѣлу лирики, и это литературное сходство объяснилъ единствомъ героини романа (*Nowe przyczynki*, 21). Вопросъ о времени происхожденія польскихъ пѣсень рѣшается еще инымъ образомъ. Такъ, напр., Ст. Тарновскій, считая невозможнымъ назвать пѣсни, посвященныя воспѣванію Лидіи, призналъ всю польскую любовную лирику плодомъ позднѣйшаго времени, иныхъ отношеній, чѣмъ тѣ, которыми вызваны элегіи. Такія отношенія создались въ эпоху придворной жизни поэта, когда онъ и въ столицѣ и въ провинціи могъ увлекаться женской красотой и пѣть ей панегирики (стр. 193, Jan Kochan.). Мнѣніе это ничѣмъ не подкрѣплено, а потому оно заслуживаетъ меньшаго довѣрія, чѣмъ мысль Брюкнера. Послѣдній окончательно восторжествовалъ-бы, если-бъ доказалъ, что родство сюжетовъ въ элегіяхъ и пѣсняхъ можетъ-быть объясняемо исключительно единствомъ прославляемой личности: въдь немаловажной причиной сродства обѣихъ вѣтвей лирики приходится на основаніи предвѣдущаго анализа считать также единство литературной школы, подъ вліяніемъ которой они писаны.

Несмотря на отмѣченное разногласіе по поводу того, когда и гдѣ возникла лирика, въ самомъ существенномъ вопросѣ Левенфельдъ, Тарновскій и Брюкнеръ держатся одного мнѣнія: всѣ фазисы и подробности описанной поэтомъ несчастной страсти они единодушно вносятъ въ біографію его. Каждому изъ этихъ ученыхъ одинаково свойственно стремленіе искусственной систематизаціей элегій и пѣсень возстановить утраченную въ печатномъ изданіи и манускриптѣ естественную перспективу той любовной исторіи, которая была предметомъ литературнаго воспроизведенія. Упомянутые ученые говорятъ: несомнѣнно, что, уступая гуманистическому литературному режиму, поэтъ старался свои чувства подогнать подъ условныя формулы или, какъ онъ говоритъ въ первой элегіи первой книги, „*canere antiquo consona Callimacho*“, но несомнѣнно также и то, что молодой человѣкъ любилъ на самомъ дѣлѣ. „Слѣды дѣйствительныхъ чувствъ и страданій должны быть въ этихъ элегіяхъ, и потому онѣ, несмотря на свой однообразный условный характеръ..... мучатъ надеждой, что изъ нихъ мы всетаки сумѣемъ узнать что нибудь о Кохановскомъ“

(Jan Kochanow. 58 стр.). Итакъ, полагаютъ, что предъ испытующимъ взоромъ современнаго критика въ формѣ любовной лирики предстоить растворъ неподдѣльнаго чувства въ классическихъ реминисценціяхъ. Нужно подвергнуть этотъ растворъ тщательному анализу, отдѣлить одинъ элементъ отъ другого, чтобы получить на днѣ стлянки кристаллы фактовъ изъ жизни Кохановскаго. Окончивъ обзоръ серіи элегіи къ Лидіи, Тарновскій дѣлаетъ такое заключеніе. Кохановскій любилъ Лидію; это была красивая, не лишенная образованія и кой-какихъ очаровательныхъ качествъ блондинка, женщина легкомысленная, далеко не добродѣтельная; сначала она питала взаимность къ Кохановскому, но скоро промѣняла его на болѣе богатаго ухаживателя (96 и 107 стр. Jan Kochanowski). Брюкнеръ, который въ *Archiv für slav philol.*, VIII, затѣмъ въ рецензіи на трудъ Тарновскаго (1888), помѣщенной въ *Kwart. Histor.* VI, 369, какъ и Нерингъ (*Kwart. Histor.* III, 276), не видѣлъ жизненной правды въ любовныхъ изліяніяхъ Кохановскаго и отвергалъ біографическую цѣнность этихъ выводовъ изъ элегій,—потомъ въ статьѣ по поводу своего открытія переѣмилъ первоначальное воззрѣніе. Онъ утверждаетъ, будто Кохановскій пережилъ цѣлую скалу чувствъ, начиная съ момента знакомства и недолгаго обладанія и кончая измѣной милой (*Nowe przyczynki*, 20).

Вотъ и вся соль, выпаренная біографами изъ элегій.

Людвикъ Цвиклинскій въ своей монографіи о Клеменсѣ Яницкомъ объ эротическихъ писателяхъ временъ Возрожденія разсуждаетъ приблизительно такъ. Мы допустили-бы жестокою ошибку, если-бъ за чистую монету принимали любовныя изліянія тогдашнихъ поэтовъ. Поэты—филологи XV и XVI вв., рясая свои страсти, охотно пользовались сильными выраженіями и впадали въ преувеличенія—заимствовали у древнихъ поэтовъ запасъ мыслей и образовъ и, чтобы разнообразить многократно обработанные сюжеты; придумывали искусственныя ситуаціи. На самомъ же дѣлѣ, въ большинствѣ случаевъ, любовь ихъ бывала мимолетной прихотью, либо фикціей, или грубой, лишенной поэтическаго колорита, чувственностью. Мы присоединяемся къ тому взгляду, что сущность эротической поэзіи вовсе не отраженіе дѣйствительности.

Намъ представляется чисто механической процессъ литературнаго возникновенія такъ называемаго романа Кохановскаго съ Лидіей. Нѣтъ нужды вмѣстѣ съ Брюкнеромъ говорить о непосредственно

вылившихся чувствахъ, такъ-какъ побудительной причиной творчества Кохановскаго были не они, а образцы, Тибуллъ и Проперцій, всѣ чувства, всѣ отгѣнки страсти, всѣ мечты и думы которыхъ отразились въ памяти польскаго гуманиста и въ сознаниі его превратились въ теоретическую схему перипетій любовнаго чувства. Всѣ эти восхваленія и порицанія милой, готовность прославлять ее, горделивое чувство взаимности, мечты о сельской жизни, жалобы на холодность возлюбленной, бессонныя ночи у завѣтныхъ дверей, зависть къ сопернику и проклятія распущенности, увѣщанія, стремленіе покинуть возлюбленную, тоска въ разлукѣ съ ней, борьба любви и гнѣва и проч., словомъ, всѣ градаціи въ „скалѣ“ чувствъ не служатъ указаніями на факты или обстоятельства изъ жизни Кохановскаго, а лишь на подраздѣленія его эстетической теоріи.

Вмѣсто собственнаго сердечнаго опыта поэтъ въ основаніе любовной лирики положилъ правила, выведенныя изъ начитанности въ эротическихъ писателяхъ, и на сценѣ появился міръ страстей, чуждый его интимной личности, но близкій и понятный ему, какъ гуманисту. Въ реальность Лидіи мы не вѣримъ. Тарновскому хорошо извѣстно, что элегія, рисующая ея образъ, въ отношеніи подражательности „имѣетъ дурную репутацію“. Если вычеркнуть всё, что по мысли или манерѣ принадлежитъ Проперцію или Тибуллу, то съ трепетомъ придется спросить: что же останется отъ Кохановскаго? Къ счастью, утѣшаетъ Тарновскій читателей, сходство еще не воровство: Кохановскій писалъ по образцу римскихъ поэтовъ, вдохновился ими, но не переписывалъ ихъ буквально (Jan Kochanowski, стр. 97 и 98). Странная защита! Если-бъ Кохановскій просто переписывалъ, то былъ-бы не авторомъ подражательныхъ элегій и пѣсень, а издателемъ избранныхъ мѣстъ изъ классиковъ. Кокетка, державшая поэта въ цѣпяхъ живьемъ выхвачена изъ древней литературы. Утонченность вкуса образованной римлянки она соединяетъ съ продажною куртизанки. Она живетъ въ типичной атмосферѣ классической старины. Ея атрибуты, ея времяпрепровожденіе — цвѣты, арфа, пирушки, чтеніе поэтовъ, танцы, бокалы вина, служеніе Венерѣ съ счастливымъ богачемъ—всѣ это напоминаетъ какую-нибудь Фрину или Родону, или римлянку время упадка. Красавица, разукрашенная сидонійскимъ пурпуромъ, мечтающая о баняхъ и театрахъ, благоухающихъ сицилійскимъ шафраномъ, рядомъ съ Кохановскимъ, человекомъ XVI ст., составляетъ анахронизмъ.

Столь частымъ жалобамъ Кохановскаго на богачей, установившихъ плату за любовь, на соперника раба или знатнаго гуляку, на то обидное для страстнаго любовника положеніе, когда, по слову Горация (Lib. III, car. 10), божеъ страждетъ и отъ порога и отъ дождя, соотвѣтствуютъ тождественныя въ древней эротической поэзіи. Трудно думать, чтобы это тождество, касающееся личности милой, хода романической исторіи въ общемъ и въ частностяхъ, вытекало изъ сходства между Кохановскимъ и римскими поэтами въ жизненныхъ условіяхъ, при которыхъ разыгрывались ихъ любовныя чувства. Всего важнѣе, что противъ такого предположенія говоритъ неустойчивость самыхъ любовныхъ сюжетовъ въ лирикѣ Кохановскаго, а также фиктивность имени Лидіи. Сначала о первомъ. По свидѣтельству Брюкнера, Кохановскій передѣлывалъ не только стиль, но и содержаніе элегій; такой полной перемены подпали 13-я 1 кн. и 10 эл. 1 кн.

Лидія переселилась изъ города въ деревню. Поэтъ сначала дѣлаетъ видъ, будто поддакъ иллюзіи счастья: онъ будетъ для Лидіи носить въ награду за любовь птичекъ, малину, зайцевъ. Неожиданно затѣмъ обнаруживается скрытое недовѣріе мечтамъ: возможно-ли, чтобы она не посмѣялась надъ деревенскими подарками? Теперь золото въ цѣнѣ, золота пусть припасетъ тотъ, кто хочетъ любви. Словомъ, скептицизмъ кладетъ печать на настроеніе элегій. Такой видъ она имѣла первоначально. Между тѣмъ въ печатномъ текстѣ нѣтъ ни недовѣрія, ни притворства. Лидія перенеслась отъ одного образа жизни къ другому. Поэтъ толкуетъ ей о прелестяхъ охотничьей и земледѣльческой жизни. Идиллія выдержана вполне. Въ концѣ элегій — надежда, что взаимная любовь замѣнитъ ему богатство. Другая элегія: онъ ждетъ Лидію на свиданье. Сцена ожиданія представлена въ рукописи безъ многихъ подробностей печатнаго текста. Нѣтъ тамъ мифологическихъ вставокъ, нѣтъ просьбы не тратить времени на нарядъ, нѣтъ указанья на то, что Лидія являлась къ нему прежде переодѣтой въ мужское платье.

Припомнимъ характерную заботу Кохановскаго о томъ, чтобы изъ фразекъ издатель Янушовскій ничего не выбрасывалъ: онъ не хотѣлъ утратить память о мельчайшихъ чертахъ своего прошлаго. Здѣсь же мы видимъ не то. Онъ мѣняетъ духъ элегій, вноситъ новыя подробности. Очень трудно доказать, что онъ дѣлалъ это изъ желанія воспроизвести былое болѣе правдиво. Что написано подъ свѣжимъ

впечатлѣньемъ событія, то всегда искреннѣе, вѣрнѣе передастъ настроеніе минуты, чѣмъ произведеніе, удаленное отъ своего предмета значительнымъ разстояніемъ времени. Но зачѣмъ-бы автору перекрашивать одно, затушевывать другое, если этимъ подновленіемъ не достигается близость къ истинѣ? Мы, по крайней мѣрѣ, на этотъ вопросъ можемъ отвѣтить лишь тѣмъ соображеніемъ, что Кохановскій въ элегіяхъ не видѣлъ памятниковъ сердечной исторіи, а потому не связывалъ съ ними иныхъ воспоминаній, кромѣ литературныхъ.

Что касается фиктивности образа Лидіи, то драгоценное указаніе на это находимъ опять таки у Брюкнера (*Nowe przyczynki*, 9), который однако воспользовался имъ въ высшей степени несчастливо. Извѣстна 2 эл. 3 кн., родъ посланія, которымъ Кохановскій, какъ до сихъ поръ думали, приглашаетъ къ себѣ въ Чернолѣсь въ гости своего друга и покровителя, епископа, бывшаго канцлера, Мышеовскаго, обѣщая ему отъ имени жены, Пасифилы (Дороты), самое радушное угощеніе всѣмъ, что найдется въ ихъ скромномъ хозяйствѣ. Въ юбилейномъ изданіи элегію основательно относятъ къ числу позднѣйшихъ (послѣ 1578).

Въ рукописномъ сборникѣ Брюкнера, который, какъ онъ утверждаетъ, относится къ 1562 г. этой элегіи не должно бы быть; между тѣмъ она есть тамъ, но только въ ней упоминается не Пасифила, а Лидія. Ухватившись за это имя, комментаторъ увѣряетъ, что во 2 эл. 3 кн. рѣчь идетъ не о Мышеовскомъ, краковскомъ епископѣ, не о Польшѣ, не о Доротѣ, а о Падуѣ, Лидіи, какомъ-то иномъ Мышеовскомъ. Но можно спросить: откуда у Кохановскаго взялась въ Италиі своя деревня, свое хозяйство, откуда этотъ домашній очагъ? Могъ-ли онъ обзавестись возлѣ Падуи имѣніемъ, если есть мѣсто предположенію, что за границу онъ выѣхалъ на чужія средства? Самъ-же Брюкнеръ объясняетъ нареканія Кохановскаго на золото его бѣдностью (*Nowe przyczynki*, 15). Всѣ эти сомнѣнія ученый думаетъ успокоить ссылкой на 3 элегію 1 кн. манускрипта (13 эл. 1 кн. печатнаго изданія), гдѣ встрѣчается намекъ на выѣздъ Лидіи въ деревню. Однако трудно впасть въ болѣе жестокое противорѣчіе съ самимъ собой, чѣмъ это удалось комментатору. Надѣмся, что Брюкнеръ не имѣетъ въ виду передѣлки (1 кн. 13 эл.), потому что она, по его же собственному заявленію, излишне напыщенна и лишена жизненной правды (*Nowe przyczynki*, 14); а между тѣмъ отсюда то именно и можно вывести заключеніе, что между мечтами Кохановскаго



и желаніемъ Лидіи была полная гармонія. Возьмемъ-же менѣе фальшивую по настроенію первоначальную редакцію той-же элегіи. Начало ея какъ будто пророчить сожителство Кохановскаго съ Лидіей на лонѣ сельской жизни, но прочтемъ дальше: поэтъ жалуется на алчность современныхъ ему дѣвъ, на Лидію, которая, блистая во время прогулки пурпуромъ и перлами, занимаетъ поклонниками цѣлую улицу; есть-ли надежда подступить къ ней съ пустыми руками, какое тутъ можетъ быть мѣсто бѣдности? Изъ боязни быть осмѣяннымъ, поэтъ хочетъ пожертвовать даже послѣдней рубашкой, чтобы, окончательно разорившись, на самомъ дѣлѣ взяться за мотыгу.

Можно-ли послѣ этого, если вѣрить правдивости всего писаннаго Кохановскимъ, допустить осуществленіе его мечтанія поселиться съ Лидіей въ деревнѣ? Принимая во вниманіе содержаніе и тонъ указанной Брюкнеромъ элегіи, нельзя вообразить себѣ Кохановскаго счастливымъ любовникомъ, а жадную Лидію въ роли добродѣтельной матроны.

Хорошъ-бы былъ и епископъ Мышковскій, обѣдающій у куртизанки! Брюкнеру ничего не оставалось дѣлать, какъ принять епископа Мышковскаго за кого-то другого. Всѣ эти неестественности и противорѣчія вытекаютъ изъ какого-то крупнаго недоразумѣнія. Ради одного имени Лидіи нельзя относить элегію несомнѣнно позднѣйшаго происхожденія къ падуанскому періоду¹⁾. Гораздо проще обстоитъ

¹⁾ Для рѣшенія спорнаго вопроса важнѣе всего опредѣлить время происхожденія открытаго Брюкнеромъ списка элегіи. Издатель утверждаетъ, что сборникъ появился незадолго до 1562. Если справедливо его мнѣніе, то мы, конечно, отказываемся отъ противорѣчія. Но есть основаніе иначе датировать найденный сборникъ. Обширный манускриптъ въ 267 стр., въ которомъ отъ 32 по 56 помѣщены элегіи и три другія стихотворенія Кохановскаго, писанъ различными почерками въ разное время. Первые двѣ страницы записаны въ 1588 г. Отъ 3-й до 60-й нѣтъ почеркомъ записаны кромѣ произведеній Кохановскаго нѣсколько документовъ и писемъ отъ 1558 и 1559 гг. Далѣе Брюкнеръ переходитъ къ писаннымъ нной рукой 70 — 173, ничего не говоря о почеркѣ предшествовавшаго десятка страницъ. А жаль, потому что отъ 65—69 помѣщенъ относящійся къ 1562 г. протестъ противъ католическаго духовенства, а на 70 и 71 стр. появляется инструкция объ обязанностяхъ рыцарскаго сословія отъ 1562 г. и дальше другіе историческіе документы, сеймовыя конституціи, рѣчи отъ 1556 и 1563 годовъ. При этомъ замѣтимъ, что часть актовъ, среди которыхъ находится, между прочимъ, конституція сейма 1563 г., написана новымъ почеркомъ. Даты и указанія на содержаніе манускрипта мы беремъ у Брюкнера съ 3 — 4 стр. его статьи „Nowe przyczynki“.

Ничто не мѣшаетъ предположить, что по времени происхожденія манускриптъ

дѣло, если имя Лидіи считать условнымъ. Это имя звукъ пустой. Съ нимъ не связывалось въ представленіи поэта никакихъ традицій о реальной личности. Лидія— нарицательное слово, идеальный адресъ, по которому посылались лирическія изліянія элегій и пѣсенъ, разумѣется не могла вызывать въ душѣ поэта двойственного впечатлѣнія, сочетавшіяся съ образомъ его жены. Съ нашей точки зрѣнія усвоенье этого имени Доротѣ Подлодовской доказываетъ призрачность героини романа, изображеннаго Кохановскимъ въ любовной лирикѣ. Впослѣдствіи жена поэта пріобрѣтаетъ названье Пасифилы, очевидно, во избѣжаніе возможныхъ затрудненій читателей.

Итакъ, напрасно усматриваютъ реальную подкладку въ эротической лирикѣ Кохановскаго, напрасный трудъ дѣлать выводы о сущности любовныхъ отношеній и характерѣ возлюбленной, выступающихъ тамъ. Впрочемъ, отчего-же не допустить, что Кохановскій дѣйствительно былъ подъ обаяніемъ женской прелести? Но въ такомъ

раздѣляется на двѣ части: одна записана до 1582, другая — позже этого года, но не позже 1588. На основаніи филологическихъ соображеній мы позволимъ себѣ установить дату для первой части (3—60 стр.) въ предѣлахъ 1578 — 1582 годовъ. Въ сборникѣ вслѣдъ за элегіями идутъ три польскія пѣсни Кохановскаго. Изъ нихъ одна—знаменитое „Czego chcesz od nas Panie“ (1 т., 355). Самъ Брюкнеръ въ *Archiv f. slav. Phil.*, VIII, и Хмѣлевскій въ *Ateneum*, 4 т., 366 стр., 1888 г., по сличеніи этой пѣсни съ мотивами и выраженіями *Psalterz'a* Кохановскаго, относятъ ея происхожденіе ко времени занятій нашего поэта переводомъ псалмовъ (1571—1579). Это утвержденіе во всякомъ случаѣ вѣроятнѣе, чѣмъ анекдотическое преданіе о томъ, что будто-бы „Czego chcesz“, признаваемое перломъ религіозной лирики Кохановскаго, было написано въ Парижѣ (1557). Если пѣсень — псаломъ возникла подъ влияніемъ Псалтыри (что доказано) и вышла изъ-подъ пера поэта около 1579 г., то соседство ея съ элегіями указываетъ на время записи послѣднихъ въ манускриптѣ. Въ этотъ списокъ могла войти, какъ новинка, на ряду съ падуанскими произведеніями и элегія къ Мышковскому съ упоминаніемъ о Лидіи. Комментаторъ юбилейн. изд. относитъ ея къ 1578. Дѣло въ томъ, что Мышковскій пріѣхалъ на краковское епископство только въ 1577 г. Выѣхать къ поэту онъ могъ, очевидно, только изъ Кракова, потому что авторъ въ пригласительной элегіи упоминаетъ (III, 2, 29) про „столичную суголоку“, *tumultus urbis*. Еще одно соображеніе. Въ печатномъ изданіи 1584 г. элегія помѣщена въ 3 кн. № 2. Этотъ фактъ, даже по мнѣнію Брюкнера, долженъ указывать на ея позднѣйшее происхожденіе, потому что „... въ первыхъ двухъ книгахъ элегій значительное большинство составляютъ произведенія падуанскія, которыя почти исчезаютъ въ двухъ другихъ“. (*Nowe przyczynki*, 22). Кромѣ этой элегіи, перенесена еще одна изъ второй книги манускрипта въ 3-ю печатнаго изданія подѣ № 4-мъ. Это элегія, обращенная къ Яну Теньчинскому, которому поэтъ рисуетъ красоты Италіи: писана предѣ 1562 г. по возвращеніи изъ Польши (*Ateneum*, 1891, 2, *Nowe przyczynki*, 14 стр.).

случаѣ необходимо добавить: страсти и ситуаціи, пережитыя имъ, были иными, чѣмъ описанныя въ элегіяхъ и пѣсняхъ, не походили на тибулловскія, какъ бываютъ похожи двѣ горошины. На это требованіе индивидуализма въ проявленіи чувствъ возразятъ старой истиной: съ тѣхъ поръ какъ помнитъ себя человѣчество, любовь не мѣняла своей сущности; не заключаютъ-ли, въ самомъ дѣлѣ, извѣстныхъ слова Бёрнса эссенціи всѣхъ любовныхъ пѣсень, которыя когда-либо были писаны: „Если-бы мы не любили такъ нѣжно, если-бы мы не любили такъ слѣпо, если-бы мы никогда не встрѣчались или не разставались, наши сердца не разрывались-бы отъ горя“. Однако нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что между выраженіемъ любви, напр., Ленскаго и Онѣгина существенная разница. Любовь тысячи разъ была сюжетомъ романа и всякій разъ какъ она шла изъ глубины сердца, облекалась своеобразной мелодіей. Отсюда, если въ произведеніи, посвященномъ чувству, замѣчается условность формы, то мы вправѣ заключить, что авторъ остроумной оболочкой риторическихъ фигуръ хотѣлъ скрасить недостатокъ сильныхъ сердечныхъ движеній. Пусть Кохановскій испыталъ любовь, но любовь безъ всякой силы, безъ всякихъ впечатлѣній, которыя могли бы тронуть его воображеніе. При искреннемъ чувствѣ невозможно говорить чужія слова, авторствовать, пользоваться шаблономъ, дѣлать фикцію. Если-бъ образцы и занимали тогда въ памяти Кохановскаго выдающееся мѣсто, то не такое, чтобъ изъ-за нихъ нельзя было замѣтить характера переживаемыхъ чувствъ. Искусственная декорация школьныхъ представленій не заслонила-бы сознанія дѣйствительной обстановки, при которой переживалось душевное волненіе. Но испытавъ легкія чувственные привязанности въ родѣ той, о которой узнаемъ изъ эпиграммы „Ad Ceginnam“ (22 epigr., III т., 196), трудно судить о психологіи сильной страсти. Оставалось, отдавшись литературнымъ впечатлѣніямъ, фантазировать въ предѣлахъ готовыхъ формулъ, общепринятыхъ ситуацій.

Въ самомъ дѣлѣ мы не найдемъ у Кохановскаго ни одного сюжета, который-бы не былъ обработанъ до него. Правильнѣе выразиться, — у него, какъ у подражателя репертуаръ мыслей и чувствъ уже, чѣмъ у римскихъ поэтовъ.

Нельзя не отмѣтить проистекающей отсюда монотонности настроенія въ любовной поэзіи его. Въ сущности, въ латинской лирикѣ Кохановскій играетъ только двумя противоположными по смыслу

сюжетами. Самое расположение элегий в печатном издании 1584 г. таково, что каждая последующая как будто предназначена ослаблять впечатлительность от предыдущей. Если одна изображает подъем духа, то вторая отчаяние, полное доверие уничтожается подозрением, прощение гибелью. Приведем вкратце содержание нескольких пар элегий из первой книги.

6) В надежде на взаимность, автор перечисляет красоты Лидии.

8) Здесь раздаются по адресу Лидии упреки в непостоянстве, алчности, тут-же советы придерживаться одного постоянного друга.

10) Несомненно, отношения поэта и его подруги идут хорошо, потому что он ожидает ее к себе на свидание. Она не явилась, промучив поклонника.

11) Лидию и Яна связывают, по видимому, самые нужные узы: иначе, зачем-бы ей рыдать при мысли о разлуке с ним.

12) Дух поэта упал. Пріятель утешают его в любовной тоске... и т. д.

Обратимся ко второй книге.

1 эл. начинается с упреков в непостоянстве, кончается обращением к благоразумию возлюбленной сердца. Очевидно надежда на поворот Лидии к лучшим нравам не покинула поэта.

2) Несчастный поклонник твердо решил при содействии Вакха изгнать из памяти образ неблагодарной.

3) Возвращается к ней, потому что не может найти себе места от страданий.

4) Явления Венеры утешают его скорбь: богиня убедилась в взаимности милой.

5) Мучения возникают вновь, Лидия уклоняется от него... и т. д.

В польской лирике Кохановский также постоянно возвращается в заколдованном круге двух ощущений: радость от взаимности и боязнь потерять ее. В первом случае он всегда заявляет, что будет служить возлюбленной до смерти, во втором—жалуется, что скоро умереть. Если эта калейдоскопическая игра света и тени затрудняет понимание романа, то ничуть не помогают делу и внешние события, введенные поэтом в лирику; они очень безсодержательны: милая куда-то уезжает; он проводит тоскливую ночь у ворот ее жилища, он ждет ее к себе на свидание, он в горь ищет уединения в пустынных местах и т. п. Но и эти

событія скорѣе фикціи, подсказанныя изученіемъ латинскихъ образцовъ, чѣмъ отраженіе дѣйствительности. Вслѣдствіе того, что пестрая смѣна житейскихъ впечатлѣній не перешла въ стихи Кохановскаго, отношенія между нимъ и милой представляются весьма тусклыми. Въ польской лирикѣ сказывается старательное стремленіе автора опускаться изъ поля зрѣнія все фактическое, частное, матеріальное, какъ-бы чувствуется тенденція придать любви побольше деликатности, тонкости, когда предметъ страсти похожъ на прекрасный призракъ, а отношенія къ нему сводятся къ восхищенному поклоненію и тоскливымъ жалобамъ на любовныя муки. Таковы, между прочимъ, неупомянутыя нами до сихъ поръ пѣсни „Do Miłości“. Здѣсь подъ абстрактнымъ понятіемъ любви авторъ вездѣ разумѣетъ Амура или Венеру. Поэтъ томится, таетъ на огнѣ любви, онъ близокъ къ смерти, поэтому проситъ Амура прекратить его страданья. Больше мы ровно ничего не узнаемъ оттуда о личности автора и его возлюбленной.

Если современный читатель, пробѣгая содержаніе любовной поэзіи Кохановскаго, видитъ въ ней приистекающее отъ бѣдности реальныхъ впечатлѣній однообразіе и условность выраженія, то изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы самъ авторъ замѣчалъ тоже самое. Это видно, напр., изъ слѣдующаго обстоятельства. Много спустя послѣ пріѣзда изъ-за границы, Кохановскій снова принимается за обработку любовнаго сюжета. Жизнь несомнѣнно дала новому чувству новое содержаніе. Однако поэтъ не перерастаетъ правилъ. Ему дѣла нѣтъ до новыхъ темъ; онъ опять готовъ отливать свои чувства въ издавна опредѣлившуюся, неподвижную форму, какъ-бы не сознавая, что въ жизни человѣка не можетъ повториться разъ пережитый имъ рядъ душевныхъ и физическихъ явленій. Чѣмъ-то въ родѣ вступительной главы къ начинающемуся роману (съ Пасифилой) служить 1 эл. 3 кн., гдѣ поэтъ проситъ Венеру не возобновлять въ его сердцѣ давней игры чувствъ. „Достаточно—говоритъ онъ—разъ въ жизни безумствовать. Не мнѣ уже стоять на сторожѣ у запертыхъ дверей, пока хохлатый пѣтухъ провозгласитъ день, или стучать ногой о негостепріимныя двери, или прибѣгать то къ лести, то къ угрозамъ“. Нечего искать въ любовныхъ произведеніяхъ Кохановскаго страсти, жизненности или психологической глубины. Онъ стремился познакомиться не со своими ощущеніями и чувствами, а съ установившимся литературнымъ типомъ любовной лирики, писалъ не для самого себя,

но для представителей гуманизма въ современномъ ему образованномъ обществѣ Польши XVI ст.

Въ манускриптѣ 1562 г. находится элегія, послѣдніе стихи которой мы приведемъ: Божественная Эрато! Пошли мнѣ сіль для стиховъ, такъ чтобы ихъ хвалила Киприда, хвалила сама любовь. Пусть другіе ставятъ пирамиды... вырѣзываютъ свои имена на мраморѣ; упадутъ со временемъ скалы, годы уничтожатъ мраморъ. Только слава музъ никогда не умретъ. (Въ печат. изд. I, 5 „къ Яну Тарновскому“). Эти слова—эхо классическаго міра, отзывавшееся въ представленіи каждаго болѣе или менѣе одареннаго гуманиста. По мѣрѣ возрастанія своего таланта Кохановскій всё болѣе проникался жаждой славы, которая, по словамъ Фойгта, и была жизненнымъ нервомъ всякой гуманистической дѣятельности (Возрожденіе классич. древности I, 17). Польскій поэтъ къ тому-же сознавалъ, что въ его лицѣ можетъ украситься лаврами Польша, а съ ней и цѣлое славянство. Сдѣлаться гордостью своихъ соотечественниковъ было его завѣтной цѣлью¹⁾. Желаніе славы—и не для себя только, но и для родины—было, по нашему мнѣнію, побудительнымъ толчкомъ къ тому, чтобъ поэтъ началъ легкіе любовные эпизоды изъ своей жизни превращать въ образы могучихъ страстей и создавать преувеличенные аффекты, искусственныя ситуации, лишь-бы, какъ онъ самъ согласно съ эстетикой своего времени говорить, „въ касталійскомъ гротѣ занять ближайшее мѣсто послѣ Корнелія Галла и Тибулла“²⁾.

¹⁾ ...Frigida ne tantum Thrace, sed dicere vatem
Quondam etiam posset Sarmatis ora snum.

1 кн., 12, 15—16 стр.

²⁾ Изъ ст. Брюкнера. Это мѣсто опущено въ печ. изд. I, 5 эл.

Трены.

I.

Между 1579 и 1580 гг. Кохановскій похоронилъ свою тридцатимѣсячную дочь Оршулю. Въ поэзіи, внушеніяхъ „златоудрой Эрато“, онъ находилъ источникъ утѣшенія (XV тр.). Такъ возникли 19 элегій, пѣсень плача, гдѣ отразились разныя настроенія его тосковавшей души, начиная отъ безутѣшной скорби до разсудочно-спокойнаго примиренія съ приговоромъ Промысла.

Для установленія правильнаго взгляда на лирическое произведеніе важно выяснитъ психическія условія, его породившія. Критикъ Фаленскій находить, что неосцѣненное достоинство треновъ состоитъ въ ихъ непосредственности. Вѣрный образъ происхожденія Треновъ критикъ усматриваетъ въ одномъ разсказѣ Вальмики. Величественный творецъ Рамайяны однажды имѣлъ случай наблюдать трогательный примѣръ необычайной приязанности въ царствѣ птицъ: самецъ-голубь умеръ съ горя надъ трупомъ только-что подстрѣленной своей подруги. „Въ тотъ-же моментъ Вальмики почувствовалъ острую скорбь, какъ-будто несчастье коснулось его самого, и безсознательно съ устъ его полились ритмическія слова.....“¹⁾ Подобно этому охваченное жестокой болью сердце Кохановскаго излилось въ „слезахъ творчества“. Трены—это импровизація; ихъ поэтическая форма „вышла готовой изъ пораженной громомъ несчастья души“ поэта²⁾.

Пр. Нерингъ смотритъ на дѣло съ болѣе холодной точки зрѣнія³⁾. По его мнѣнію, сомнительна возможность художественныхъ

¹⁾ Biblioteka Warszawska, 1865, I, 356: Treney Jana Kochanowskiego.

²⁾ Ibid., 385.

³⁾ Studya literackie, str. 35—36. Poznań, 1884 r.

эмоцій, если въ домѣ смерть или ея слѣды, а голова отуманена тяжелой печалью. Помимо того, трены носятъ несомнѣнные признаки заботливости автора объ эстетическомъ совершенствѣ, округленности и законченности выраженія: Кохановскій плачетъ, но, сохраняя болѣзненный тонъ страдальца, не забываетъ избѣгать словъ дюжинныхъ, избитыхъ, выдвигаетъ цѣлый рядъ живописныхъ картинъ и сравненій, умѣетъ сосредоточиться на мифологическомъ сюжетѣ. „Создавая трены, поэтъ несомнѣнно не только имѣлъ въ виду себя и свое бѣдное сердце, но и читающую публику“¹⁾. Они были написаны, по Нерингу, когда горе Кохановскаго не мѣшало проявленію его артистическихъ склонностей, слѣдовательно, когда уже была извѣстная перспектива между печальнымъ происшествіемъ и воспоминаніемъ о немъ.

Тѣмъ не менѣе было-бы большимъ заблужденіемъ, болѣе опаснымъ, чѣмъ крайность мнѣнія Фаленскаго, предполагать, что поэтъ выплакалъ свое горе, покончилъ съ тоской, а затѣмъ въ состояніи хладнокровія рѣшилъ увѣковѣчить свои бывлыя страданья въ литературномъ памятникѣ. Если въ первыя минуты душевнаго потрясенія вдохновеніе невозможно, то при воспроизведеніи умолкнувшихъ страстей по памяти естественно можетъ получиться картина психологически не точная, не совпадающая линія въ линію съ ея жизненной основой. Въ состояніи объективнаго спокойствія инстинктъ легко побѣждается соображеніемъ. Представленіе о естественномъ ходѣ, броженіи исчезнувшихъ чувствованій утрачивается; расчлененныя на отдѣльные эпизоды, въ головѣ автора они втискиваются самымъ незамѣтнымъ образомъ въ рамки логическаго плана; при томъ-же въ поэтической идеализаціи прежнія ощущенія возсоздаются не въ чистомъ видѣ, но съ примѣсью позднѣйшихъ. Таковы, напр., трены поэта Морольскаго на смерть жены. Ссылаемся на судъ Фаленскаго, который на многихъ страницахъ своей статьи разсматриваетъ трены Кохановскаго, какъ школу подражателей. „Поэзія—вполнѣ заслуживающая названіе остроумной выдумки. Всѣ тамъ состоитъ изъ пріятныхъ куплетовъ и смѣлаго сопоставленія антитезъ. Вчитываясь въ эти поэтическія утонченности, невольно задаешь себѣ вопросъ, какъ

¹⁾ Ani mi lacno teraz dowiadać się o tym,
Jaka mię z płaczu mego czeka cześć na potym.

можно было оплакивать любимую особу столь игривымъ способомъ“ 1)? Этотъ удивительный способъ изліянія горя въ сущности и объясняется значительной дозой равнодушія автора къ своей потерѣ: онъ охотно наслаждается игрой собственнаго воображенія, потому что сердце уже молчитъ.

Между тѣмъ трены Кохановскаго вовсе не отдаленное эхо пережитыхъ волненій. Есть объективное доказательство того, что они — отпечатокъ живыхъ чувствъ, а не результатъ головной затѣи. Въ ихъ нѣдрахъ нѣтъ плана, связующаго всѣ части въ одно стройное литературное цѣлое, напр., въ „поэму“, гдѣ каждая глава можетъ быть понята лишь изъ совокупности всего произведенія, гдѣ нѣтъ повторенія однихъ и тѣхъ-же идей, образовъ и мотивовъ. Изъ многихъ наблюденій пр. Неринга надъ отсутствіемъ взаимоотношенія и связи между отдѣльными тренами приводимъ одно весьма замѣчательное. При существованіи плана въ треняхъ, мы открыли-бы тамъ извѣстную логичность въ размѣщеніи упоминаній поэта о загробномъ состояніи его Оршули. Однако вотъ что мы имѣемъ въ дѣйствительности „Въ тренѣ 3-мъ поэтъ говоритъ о скоромъ свиданіи съ Оршулей, „da Pan Bóg“ по смерти. Въ тренѣ 8-мъ беспорядочно отзываются христіанскія и языческія, свойственныя итальянскимъ гуманистамъ, повѣрія „o marach nikszemnych“, но всѣ они расплываются въ ничто подъ дуновеніемъ извѣстнаго сомнѣнія „Gdziekolwiek jest, jeżeli jest“; однако въ 14 тр. поэтъ собирается за Оршулей, или къ ней въ подземное царство“ 2). Подобная путаница въ переходахъ отъ невѣрія къ вѣрѣ въ загробное бытіе конечно не могла исходить изъ плана, напередъ обдуманнаго.

Остается признать, что трены во всей своей цѣлости были написаны подъ впечатлѣніемъ еще не изглаженнаго временемъ страданія. Какъ страницы дневника, они черпали свое содержаніе изъ разныхъ стадій и переживаній этого страданія. Другими словами, они созданы не единымъ напряженіемъ творческихъ силъ, а въ разные моменты, независимо другъ отъ друга, какъ отдѣльныя элегии, посвященныя въ каждомъ данномъ случаѣ особенному сердечному побужденію. Испытывая тяжелое чувство грусти, поэтъ, конечно, не надѣялся на утѣшеніе, такъ-какъ будущихъ настроеній угадать нельзя.

1) Bibliot. Warszawska, 334 стр. I т. 1866.

2) Studya literackie, 37 стр.

Слѣдовательно, изображая это настроеніе въ 8-мъ тренѣ, онъ не предвидѣлъ содержанія 19-го. Лишь пройдя назначенное ему поприще душевныхъ испытаній, онъ могъ однимъ взглядомъ окинуть свой горестный дневникъ и почувствовать, что поэтическія мелодіи отдѣльныхъ треновъ составляютъ въ общемъ симфонію родительскаго горя.

Въ литературной дѣятельности Яна Кохановскаго замѣчается постоянный переходъ отъ произведений, затрогивающихъ его личную жизнь, къ произведеніямъ на общественныя темы. Къ числу первыхъ относятся, между прочимъ, любовная лирика и трены, два памятника, отмѣчающіе начало и конецъ развитія индивидуализма и оригинальности творчества Кохановскаго. Въ самомъ дѣлѣ, если классическое вліяніе, особенно сильное въ началѣ литературной дѣятельности нашего автора, къ концу его жизни уступаетъ мѣсто самобытнымъ замысламъ, то въ свою очередь индивидуализмъ, почти не просвѣчивающій въ любовной лирикѣ, въ треняхъ достигаетъ своего наиболѣе яркаго выраженія. Это извѣстная мысль, вытекающая изъ той аксіомы, что Кохановскій высказывался въ треняхъ отъ избытка сердца.

II.

Поэтъ стоитъ въ нихъ ближе всего къ своей природѣ.

Какой смыслъ кроется подъ этимъ общимъ опредѣленіемъ?

Исслѣдователи отвѣчаютъ различно. Фаленскій въ своей проникнутой поэтическимъ жаромъ статьѣ говоритъ такъ. „Изучая природу треновъ и родникъ, изъ котораго они брызнули, надлежитъ совлечь съ нихъ всяческій рефлективный уборъ (*obrac̄ je należy ze wszelkiego refleksyjnego przymiotu*); вѣдь тѣло родилось раньше, нежели одежда. И что-жъ тогда останется? Человѣческая натура во всей своей первобытной наготѣ, душа въ мученіяхъ, сердце на ладони, и въ общемъ тотъ таинственный дуализмъ, который удивительно какъ напоминаетъ борьбу сатаны съ ангеломъ надъ останками Моисея...“ ¹⁾. По этому взгляду, въ нравственномъ мірѣ человѣческаго существа разгорается на почвѣ страданія борьба земныхъ инстинктовъ съ высшими, идеальными стремленіями. Протекая психологически полный кругъ мученій, нашъ духъ переживаетъ три выразительнѣйшихъ со-

¹⁾ Bibl. Warszaw., 1866, I, 359.

стоянія: слѣпое противоборство горю, соединяющееся съ ропотомъ на Промысль, моральный упадокъ, являющійся результатомъ призыва на помощь недалновидной земной мудрости, наконецъ, религиозное просвѣтленіе. Исторія человѣчества дала типическаго представителя для каждой изъ отмѣченныхъ стадій, въ Іовѣ, Соломонѣ, Өомѣ Кемпійскомъ. Вотъ эти-то три фазы раскрыты и въ исторіи горестей нашего поэта, потому что „и ему было ниспослано испытаніе, и онъ мудрствовалъ, и онъ также не нашель нигдѣ успокоенія, кромѣ какъ въ Богѣ“¹⁾.

Не ясна-ли отсюда мысль Фаленскаго, что въ тренахъ Кохановскій проявилъ себя *человѣкомъ* по преимуществу, т. е., со стороны тѣхъ основныхъ свойствъ духа, которыя присущи одинаково всѣмъ людямъ, даже рожденнымъ подъ различными широтами и въ разныя времена. Но разсматривать трены съ точки зрѣнія сентенціи, что сердце человѣческое старо какъ свѣтъ, значитъ отмѣтить въ нихъ только лишь абстрактный типъ скорби, значитъ глядѣть на міръ Божій съ высоты птичьего полета, когда исчезаютъ особенности, характеризующія человѣка извѣстной націи, эпохи, общества, когда уже нельзя отличить мантии ветхозавѣтнаго патріарха отъ тоги представителя римскаго стоицизма, какого-нибудь Цицерона или Сенеки.

За то другой критикъ, Шуйскій²⁾, ставить на видъ отраженіе въ тренахъ исторической личности Кохановскаго, а по скольку поэтъ представилъ тончайшіе оттѣнки мысли и чувствъ своего времени,— отраженіе народной души. Къ этому воззрѣнію присоединяется и Тарновскій³⁾. Этой прекрасной въ методологическомъ отношеніи мыслью Шуйскій пользуется какъ орудіемъ для проведенія въ литературу вопроса тенденціи, что гуманизмъ оставилъ печальные слѣды въ религиозномъ сознаніи Кохановскаго. По мнѣнію автора, ясно высказанному имъ въ книгѣ „Odrodzenie i Reformacya“, гуманизмъ, вторгшись подобно губительному урагану въ область культурныхъ представленій человѣчества, вырвалъ съ корнемъ средневѣковые устои, но не сумѣлъ обуздать пробудившихся чувственныхъ инстинктовъ

¹⁾ Bibl. Warszaw., 1866, I, 363.

²⁾ Rocznik Towarzystwa Naukowego, 1886 г. Zestawienie historyczno-terackie estetyczne Trenów i Ojca Zażumionych.

³⁾ Jan Kochanowski, 400 стр.

новымъ нравственнымъ идеямъ и оставилъ умы въ полной нерѣшительности, гдѣ правда и во что вѣрить.

Подъ воздѣйствіемъ языческой философіи разложились религиозныя понятія такого выдающагося дѣятеля польскаго Возрожденія, какимъ былъ Кохановскій. Поэтъ впалъ въ скептицизмъ, который и вырвался наружу въ минуту его горькаго сокрушенія о смерти дочери. Сомнѣнія, вылившіяся въ десятомъ и одиннадцатомъ тренахъ, являются факеломъ, освѣщающимъ всё моральное прошлое, всю исторію души Кохановскаго вплоть до момента осиротѣнія. Но раскрывая намъ пожизненную неустойчивость поэта въ христіанскихъ вѣрованіяхъ, трены вмѣстѣ съ тѣмъ носятъ признаки *поступательнаго* движенія его духа: кончилось его долготѣнее блужданіе и вкривь и вкось безъ твердой вѣры въ безсмертіе души и Божіе Провидѣніе, надъ гуманистическими заблужденіями восторжествовала христіанская идея. „Не на языческомъ чувствѣ оканчивается поэма Кохановскаго. Онъ побѣдилъ, и исторію своей побѣды съ психологической правдой воспроизвелъ въ заключительныхъ четырехъ тренахъ“. Нѣчто подобное внутренней драмѣ Кохановскаго происходило въ ту пору съ цѣлымъ польскимъ обществомъ, съ той только разницей, что поэтъ возвратился къ вѣрѣ отцовъ отъ язычества, а народъ отъ протестантскихъ волненій. Эта аналогія поднимаетъ трены до высоты историческаго памятника, служащаго символомъ духовнаго просвѣтленія цѣлой націи въ послѣднюю четверть XVI ст.

Такъ вотъ въ какомъ смыслѣ трены надо считать непосредственнымъ отраженіемъ историческаго типа Кохановскаго. Тамъ, по объясненію Тарновскаго, заключена эссенція внутренней борьбы цѣлой жизни поэта, „борьбы, которая повторялась, возобновлялась и, наконецъ, подъ влияніемъ ни разу не испытаннаго ранѣ несчастья была безповоротнo рѣшена“¹⁾. Не знаемъ, слѣдуетъ-ли придавать значеніе поручительству этого критика за вѣрность взгляда Шуйскаго, если онъ вплоть до 400 стр. своего объемистаго труда о Кохановскомъ стремится доказать не только христіанизмъ поэта, но и его католическую правоту²⁾.

По мнѣнію однихъ, разсуждаетъ Тарновскій (230 стр.), поэтъ былъ какимъ-то гуманистическимъ философомъ, затерявшимся въ

¹⁾ Jan Kochanowski, 400 str.

²⁾ Ibid. 230, 232, 244, 246, затѣмъ отъ 300.

калейдоскопъ популярныхъ въ XVI ст. теорій и мнѣній. Противъ этого однако говоритъ 3 эл. 4 кн., представляющая изъ себя полное исповѣданіе Кохановскаго въ высшихъ вопросахъ бытія: въ основѣ его философскаго міросозерцанія покоится вѣра въ Бога, Высшаго Судію, и въ лучшую жизнь по смерти ¹⁾. По другимъ,—Кохановскій склонялся къ протестантизму. Но если дѣйствительно въ нѣкоторыхъ фразкахъ (1 кн.: 43, 49, 55 и 2 кн.: 19, 25), въ элегій 16-ой 3 кн. „Ad Duditium“ ²⁾, въ *Sarapen Masaronicum* прямо или косвеннымъ образомъ встрѣчаются порицанія вмѣшательства высшаго духовенства въ свѣтскія дѣла, шутки надъ слабостями ксендзовъ и монаховъ, то нигдѣ не проскальзываетъ мысль о необходимости народнаго языка въ церкви или причастіи подъ обоими видами и т. п. Съ другой стороны въ такихъ произведеніяхъ какъ „Satyr“ и „Zgoda“ находятся важные слѣды чисто католическаго разумѣнія: поэтъ не усваиваетъ мірянамъ права богословствовать независимо отъ церковныхъ соборовъ ³⁾. Припомнимъ 22 фр. III кн. 2 т. 412 стр. „Na Haeretyki“ (Po co wy Haeretyci w kościele bywacie, kiedy ceremonie za smiech sobie macie?... и т. д.), а также 115 epigr. (III т. 249 стр.), гдѣ поэтъ восторженно отзывается о ревностной дѣятельности кардинала Гозія на пользу католицизма („Cujus quando parem pietas habitura fidesquest, Tutandaeque ardens religionis amor?“) ⁴⁾. Принявъ во вниманіе всё сказанное, критикъ усматриваетъ въ Кохановскомъ не протестанта, а скорѣе всего католика, хотя и не фанатичнаго, не гуманиста, принесшаго чистоту вѣры въ жертву скептицизму, по христіанина, высокое благочестіе котораго засвидѣтельствовано такими перлами религіозной поэзіи, какъ многіе изъ псалмовъ и гимнъ „Czego chcesz od nas Panie“.

И вотъ послѣ такого вполне основательнаго, по нашему мнѣнію, вывода, какъ-бы не замѣчая противорѣчія съ самимъ собой, Тарновскій соглашается (400 стр.) съ огульнымъ утвержденіемъ Шуйскаго, что поэтъ всю жизнь отрицавшій религіозную истину, въ критическій моментъ жизни очутился въ безпомощномъ положеніи: „Zakotłowało

¹⁾ Элегія написана послѣ 1570 г.

²⁾ Также въ двухъ неизвѣстныхъ Тарновскому элегійхъ сборника Брюкнера.

³⁾ Satyr, 168 ст. 2 т.: „Jedź do Trydentu, a tam pokażesz co umiesz“.

Это его совѣтъ религіознымъ новаторамъ.

⁴⁾ Написано по случаю смерти кардинала въ 1579 году.

mi w głowie, zabrakło mi gruntu pod nogami“. Фаленскій нѣсколько театрално представляет себѣ внутреннюю драму Кохановскаго, но въ тонѣ обоемъ упомянутымъ ученымъ. „Вотъ только что этотъ человекъ расшибался, рычалъ отъ боли; теперь сѣлъ на минутку, заломилъ руки, горько заплакалъ. Нѣтъ снова всталъ, какъ-бы охладѣлъ; мудрствуетъ, сомнѣвается, даже нѣсколько кощунствуетъ. Неожиданно опаматывается, упалъ на колѣни и челомъ ударилъ о землю, молится Богу ибо Богъ есть начало страданія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и конецъ его“¹⁾...

Согласно основной точкѣ зрѣнія этой польско-католической критики внутренней сложный процессъ, происходившій съ Кохановскимъ подъ тяжестью несчастья, сводится къ мукамъ перелома міросозерцанія, къ рѣзкому переходу отъ пожизненныхъ языческихъ исповѣданій гуманизма къ ортодоксальному католичеству. Если усматривать во всемъ броженіи религиозный характеръ и съ другой стороны видѣть въ немъ рѣзкій переходъ, то необходимо сдѣлать такой законный вопросъ: пережилъ-ли бы Кохановскій свою драму, если-бы въ теченіе предшествовавшего времени вѣровалъ въ Бога и загробное существованіе?

Въ духѣ Шуйскаго надо отвѣтить отрицательно.

Между тѣмъ, по нашему мнѣнію, именно такъ и было.

Броженіе, составляющее содержаніе треновъ, разрѣшается религиозной ресигнаціей, а не поступательнымъ движеніемъ. Идея переворота убѣждений была-бы вѣрна, если-бы поэтъ отказался отъ скептицизма (X и XI трены) во имя новаго воззрѣнія, а не во имя только лишь художественнаго воспроизведенія исповѣданій (XIX трень), жившихъ въ его душѣ и раньше. Такъ-какъ Кохановскій не даетъ въ тренахъ ничего новаго въ области своихъ религиозныхъ вѣрованій, то слѣдовательно не въ переворотѣ идей этого порядка состоитъ весь фокусъ пониманія его личности.

Большаго интереса и вниманія заслуживаетъ воззрѣніе Неринга. Онъ не стремится погрузить по примѣру Фаленскаго личность поэта въ море „общечеловѣческаго“; равнымъ образомъ ему чужда предвзятость Шуйскаго въ отношеніи къ гуманизму. Вроцлавскій профессоръ (*Studia literackie, Treny J. Kochan., 29—56*) также признаетъ

³⁾ Bibliot. Warszaw. 1866, I, 359.

переломъ въ поэзи и міросозерцаніи Кохановскаго, но на другой почвъ. Поэтъ, по мнѣнію критика, подь давленіемъ бѣдствія *низвергается съ высоты стоической побѣждающей міръ философіи въ темную бездну человеческого горя и немощи*, въ ту область, которая насъ увлекаетъ, вызывая состраданіе, и заставляетъ сердце сжиматься до боли за ближняго, а умъ—видѣть въ немъ болѣе чѣмъ когда-нибудь брата и человѣка. Эта мысль должна быть точкой отправленія для всякаго, желающаго освѣтить психологическую основу треньвъ.

III.

Трены, по образному слову Шуйскаго, „кладезь слезъ“. Оттуда смотреть на насъ измученное страданіемъ лицо Кохановскаго. Его воображеніе преслѣдуетъ образъ неумолимо-жестокой царицы подземныхъ тѣней, смерти, которая безощадно примѣняетъ свой „полный беззаконія законъ“ („prawo krzywdy pełne“, 21 ст., II тр.) даже къ малюткамъ. Поэтъ прокликаетъ смерть. Она представляется ему въ видѣ змѣи, простирающей свое „лакомое горло“ (I тр., 9—12) къ гнѣзду слабыхъ птенцовъ, между тѣмъ какъ безсильное родительское противодѣйствіе надвигающейся опасности находить себѣ рельефное выраженіе въ образѣ несчастной самки, которая своимъ отчаяннымъ щебетаніемъ и взмахами крылышекъ думаетъ прогнать злодѣйку.

Съ чувствомъ физической боли поэтъ вспоминаетъ, какъ обвѣянное ядовитымъ дыханіемъ смерти младенчески-нѣжное существо „упало у ногъ родителей“ подобно гибкой вѣткѣ, подрѣзанной неосторожнымъ садовникомъ (V тр.).

Въ своихъ мечтахъ онъ приникаетъ къ холодному гробу дочери, плачетъ неудержимо, но ему кажется всё мало: онъ стремится слить въ одинъ аंबरдь всё воздыханія и вопли цѣлаго міра, чтобъ выразить тоску осиротѣнія (I тр., 1—6). Эта тоска жжетъ его сердце (XIX, 3), иссушаетъ кости (XVI, 2), превращаетъ въ живой гробъ, какъ Ніобу (XV), лишаетъ творческихъ силъ (XVI, 3) и стремленія къ славѣ (II, 15—16). Что ему слава! Онъ готовъ былъ-бы всю жизнь быть нянькой, убаюкивающей дитя, предпочелъ-бы всю жизнь писать наивныя колыбельныя пѣсни для мамокъ, чѣмъ теперъ „рыдать надъ глухимъ гробомъ“ умершей дѣвочки и этимъ заслужить похвалы потомства (II, 1—9)!

Непонятны, удивительны эти неутолимые слезы и ропотъ на смерть, если припомнить литературныя произведенія Кохановскаго до треневъ, преимущественно-же его „пѣсни“.

Ja jeden niech wam służyć, a za cześć poczytam
Sobie, że się dróg inszych, niz pospólstwo, chwytam.

Wy mię z ziemie wzwodzicie, wy mię wyłączacie
Z liczby nieznaczej i nad obłoki wsadzacie:

Zkąd próżne troski ludzkie, i nie męską trwogę,

Zkąd omylną nadzieię, i błąd widzieć mogę¹⁾.

Въ этихъ самоувѣренныхъ словахъ кроются элементарныя идеи стоицизма, мудрости котораго поклонялся Кохановскій. Въ основаніи ученія древней стоической школы лежало знаніе того, что человѣческая жизнь есть море случайностей, гдѣ такъ легко затеряться, знаніе того, что человѣкъ беззащитенъ противъ измѣнчивости судьбы, если не принимаетъ мѣръ, если не выработаетъ опредѣленнаго метода жизни.

Всегда спокойный умъ, всегда чистая совѣсть—вотъ тотъ методъ.

Умъ говорить: Не вѣрь фортунѣ! Внимательно смотри на послѣдній оборотъ ея колеса. По природѣ своей это непостоянная госпожа. Она часто мѣняетъ свое поведеніе. Не вѣрь въ золото и ни въ какія сокровища. Каждую минуту бойся переменъ. Что дастъ fortuna, то можетъ и отнять. Для нея не существуетъ „давности владѣнія“²⁾.

Обуздывая страсти, не позволяя гнаться за обманчивымъ и проходящимъ, какъ молодость, здоровье, богатство, власть,—умъ тѣмъ самымъ стремится устранить возможные разочарованія. Съ другой-же стороны, въ случаѣ дѣйствительнаго удара судьбы, онъ съ высоты величія предписываетъ мужественную стойкость и терпѣніе. При всякой случайности, печальной или радостной, настроеніе должно

¹⁾ Пусть я одинъ служу вамъ (Музы); я горжусь тѣмъ, что держусь пныхъ дорогъ, неужели обыденные люди. Вы меня возносите надъ землей, вы меня выключаете изъ толпы посредственностей и поселяете выше облаковъ, откуда могу созерцать суетныя горести людей, ихъ женственныя волненія, обманчивыя надежды и заблужденія.

„Musa“, 21—26, II т. 29 стр.

²⁾ I т., 307 стр., 2 кн., пѣснь 3, 1—8 ст.

быть неизмѣнно-ровнымъ 1). „Тотъ мудръ, кто терпѣливо переносить, что необходимо перенести, и не увеличиваетъ своихъ несчастій слезами“ 2). Плачь дѣло недостойное мужа.

Спокойствіе ума всецѣло зависитъ отъ чистой совѣсти, которая въ свою очередь имѣетъ фундаментомъ добродѣтель (spota). Изъ всего, чѣмъ владѣетъ личность, только одна добродѣтель не подлежитъ превратностямъ судьбы. Она вѣчное сокровище, драгоценный алмазь. Ея не вырветъ жестокій врагъ, не спалитъ огонь, не потопитъ вода 3). „Добродѣтель“—сердце стоической мудрости.

Въ понятіи о ней совмѣщается любовь къ наукѣ, исполненіе гражданскаго долга, справедливость, умѣренный образъ жизни. Кто поклоняется ей, того она хранитъ отъ бѣды въ настоящемъ, а въ будущемъ отъ забвенія 4). Добродѣтель надежный компасъ 5) для путника, бросаемаго по волнамъ житейскаго моря, покажеть онъ не приплыветъ къ тихой пристани 6), покажеть „вся измѣнчивость этого свѣта, всѣ его противорѣчія и печали, несправедливости и неясности не найдутъ себѣ объясненія въ будущей жизни“.

Христіанская вѣра въ безсмертіе души увѣнчиваетъ философію Кохановскаго. Нѣтъ здѣсь на землѣ прочной стѣны, о которую можно было-бы опереться. Человѣкъ живетъ на свѣтѣ какъ изгнанникъ. Въ небѣ его отчизна. Счастливъ тотъ, кто послѣ земного „пелигримства“ возседеть тамъ 7). Но безсмертіе души не имѣло-бы смысла, если-бы не служило цѣлямъ справедливости. Человѣкъ на томъ свѣтѣ отдаетъ отчетъ въ своей жизни Богу, Богъ человѣку воздаетъ справедливость. „Въ нашей жизни часто можно видѣть, что добродѣтельные люди преслѣдуемы нищетой, а преступные наслаждаются изобиліемъ. Насколько это справедливо, пусть всякій разсудитъ самъ. Въ такомъ случаѣ, или Богъ несправедливъ, что, разумѣется, ложь; или-же человѣкъ въ лучшей своей части вѣченъ; если-же человѣкъ за свои заслуги не получилъ награды при жизни, пока связанъ смертнымъ

1) I т. 316, 9 п. 21—22 ст.

2) П кн., 4 эл., 29—30.

3) I т., 307 стр. 3 пѣснь, 21—24.

4) I т., 361, O Smierci J. Tarnowskiego; 73—76.

5) I т., 324, 17 п.

6) II т., 505, 50 Fragment, 4 ст.

7) I т., 365 стр., п. II, 163—166.

тѣломъ, то надо вѣрить, что онъ хранимъ для будущей жизни, когда Богъ явно каждому воздастъ должную справедливость“ 1).

Къ повседневному факту смерти Кохановскій лично относился съ большимъ спокойствіемъ. Смерть просто переходъ къ новой жизни. Подобно тому какъ сонъ, прекращая на время нашу дѣятельность, смѣняется состояніемъ бодрствованія, такъ точно послѣ смерти въ извѣстный срокъ настанетъ пробужденіе 2). Доброму человѣку нечего бояться конца жизни: тамъ ожидаетъ его награда и блаженство. Только злой долженъ трепетать при мысли о предѣлѣ своего земного бытія, такъ-какъ ему въ будущемъ предначертана гибель 3). Такое-же философски-свѣтлое отношеніе къ смерти поэтъ внушалъ и другимъ. Пустая и старая вещь жаловаться на нее. Положимъ, она лишена состраданія; беретъ безъ разбору молодыхъ и старыхъ 4), не лститъ ни добродѣтели, ни достоинству 5). Но кто воскресилъ слезами покойника? Если-бъ такъ было, то можно-бы совѣтовать плакать надъ гробомъ дни и ночи. Плачь однако не только не возвращаетъ намъ дорогого человѣка, но даже вредитъ нашему собственному здоровью 6). Кромѣ того, онъ противенъ Богу. „Лучше скромно вытерпѣть, хотя въ сердцѣ и ноетъ. Что Богъ предопредѣлилъ, то не отмѣнимъ, если-бъ даже кто могъ камни тронуть своимъ рыданіемъ“ 7).

IV.

Мы выше показали, какъ отнесся Кохановскій къ смерти, когда она со своей косою навѣстила его домъ.

Весь разумъ прежнихъ его разсужденій о божественномъ управленіи міромъ разсѣялся въ ничто. Онъ не увидѣлъ въ катастрофѣ проявленія высшей воли Небеснаго Отца, который ниспосылаетъ горе человѣку или во испытаніе его терпѣнія или въ поученіе другимъ. Смерть Оршули представлялась поэту бессмысленной игрой слѣпного

1) IV кн., 3 зл., 192—200.

2) Epigr. lib., 73, 3 т., 228 стр.: „interitum... consequitur vita nova“.

3) 50, Fragm., 9 ст. II т., 505 стр.

4) 49, Fragm., II т., 504.

5) 2 кн. пѣс., „О смерти Я. Тарновскаго“, 49—50 ст., I п., 360.

6) Ibidem, 53—58.

7) Ibidem, 65—68.

случая. Его дочь не успѣла появиться среди живыхъ существъ, не насмотрѣлась еще на ясное солнце, какъ умерла ¹⁾, а онъ, несчастный отецъ, такъ вознагражденъ за свою скромную и тихую жизнь ²⁾.

Очевидно, въ жизни есть что-то смѣющееся надъ нами, что-то издѣвающееся надъ нашими лучшими надеждами. Это—непобѣдимое злое начало; „какой-то неизвѣстный врагъ, которому дѣла нѣтъ ни до злыхъ, ни до хорошихъ людей“ ³⁾, играетъ судьбой неповинныхъ смертныхъ, ставитъ вверхъ дномъ всѣ человѣческія отношенія. Бросая безсильный протестъ Промыслу, поэтъ отвергаетъ и значеніе добродѣтели. Стоитъ-ли слѣдовать ея указаніямъ, когда благочестіе не служитъ щитомъ отъ напасти, когда счастье цѣлой жизни разлетается дымомъ отъ одного зловреднаго дуновения ⁴⁾. Подъ гнетомъ близкаго прикосновенія смерти поэтъ доходитъ до сомнѣнія въ загробномъ существованіи Оршули. Нѣжными линіями поэтъ нарисовалъ намъ образъ живой Оршули ⁵⁾. Это—милое дитя съ кудрявой головкой, румянымъ личикомъ, смѣющимися глазами. Воображеніемъ онъ погружается въ созерцаніе дорогихъ чертъ, вспоминаетъ жесты, мимику, звукъ голоса исчезнувшей дочери ⁶⁾. Онъ страстно желаетъ вновь увидѣть этотъ обликъ во всей его физической цѣлости, хочетъ вѣрить въ его бытіе. Съ другой стороны воспоминаніе развертывало предъ поэтомъ и иную картину, на которой Оршуля выступала достояніемъ могилы, съ печатью смерти на лицѣ, измѣнившейся, поблѣкшей, осунувшейся.

Это второе полное горькаго реализма представленіе въ душѣ поэта боролось съ первымъ. Въ раю-ли ты, вызываетъ поэтъ въ X тр., въ сонмѣ ангельчиковъ (*małuch aniołków*), или въ образѣ соловья на землѣ; на берегахъ Леты или на счастливыхъ островахъ, или, наконецъ, въ чистилищѣ, но—гдѣ-бы ни была—явись предо мною *въ прежней своей цѣлости* (*w onej dawnej swej całości*),—*если ты существуешь!*

¹⁾ II тр., 23—26.

²⁾ „Wiodłem swój żywot tak skromnie, że ledwie kto wiedział o mnie...“ XVII, 17—18.

³⁾ Tr. XI, 5—8.

⁴⁾ Kogo kiedy pobożność jego ratowała? Kogo dobroć przypadku złego uchwala?—*ibid.*, 1—4.

⁵⁾ XIX тр., 7—10 ст.

⁶⁾ XII тр., 6—8.

Кохановскій только въ поэтическихъ мечтахъ позволяетъ себѣ уноситься въ область различныхъ воззрѣній на загробное пребываніе человѣка. Мысль о безплотномъ существованіи Оршули ему недоступна. Отъ приведенныхъ словъ его вѣтъ слишкомъ сильными впечатлѣніями похоронъ и кладбища, той мыслью, что вмѣстѣ съ тлѣніемъ тѣла разсѣивается и духъ.

На ряду съ религіозными убѣжденіями рухнулъ и стоицизмъ поэта.

Цицеронъ и Сенека, авторитеты, давшіе Кохановскому основанія его стоической теоріи, оставили въ нѣкоторыхъ своихъ сочиненіяхъ ¹⁾ намеки на такіе моменты жизни, когда свѣтлое настроеніе ихъ духа тускнѣло отъ горестныхъ волненій, когда холоднымъ разсудкомъ имъ не удавалось торжествовать надъ естественными проявленіями чувства. Цицеронъ признается, что порой въ немъ сказывалась слабость и хрупкость, свойственныя человѣческому роду, и онъ начиналъ терять вѣру въ краеугольный принципъ своей системы, будто добродѣтель способствуетъ стойкому перенесенію страданія. И у Сенеки иногда срывалось слово безсилія и неувѣренности. Вся жизнь людей, говоритъ онъ, достойна плача. Ни незапятнанная совѣсть, ни воздержаніе, ни любовь къ знанію, ни умъ, свободный отъ всяческихъ увлеченій, не спасаютъ отъ печали, разъ она поселилась въ сердце.

Во всей своей безотраднѣйшій правдѣ представились эти мысли Кохановскому, когда его постигло несчастье. При первомъ-же испытаніи онъ почувствовалъ банкротство своей самоувѣренной философіи; „онъ, кому надлежало стоять выше толпы, низвергся съ высотъ, на которыхъ пребываютъ избранники, до уровня обыкновенныхъ смертныхъ и съ безсильнымъ разумомъ очутился въ когтяхъ страданія“ ²⁾. Пр. Нерингъ ³⁾, наблюдая идейную связь IX и XI тр. съ изреченіями Цицерона и Сенеки, дѣлаетъ вѣрную догадку, что поэтъ, не находя покоя отъ подавляющей тоски, съ надеждой на утѣшеніе обращался къ своему катехизису мудрости. Предъ его глазами проходила вереница давно знакомыхъ сентенцій; но идеальный образъ невозмутимой ясности духа болѣе не сживался съ его внутреннимъ настроеніемъ.

¹⁾ См. ст. Неринга: *Studia literackie*, 54 стр.

²⁾ *Studia liter.*, стр. 46.

³⁾ *Ibid.*, 55.

Онъ понялъ тогда, что мудрость вовсе не обладает чудодѣйственной силой перерождать человѣка чуть-ли не въ ангела, „который не знаетъ что такое горе, не чувствуетъ скорби, независимъ отъ злоключеній, не подвластенъ страху“¹⁾.

Лучшее доказательство этому—Цицеронъ. Онъ разсуждалъ, что весь міръ—отечество мудреца,—и тѣмъ не менѣе плакалъ, уходя изъ Рима въ изгнаніе; онъ говорилъ, что только безчестія не снесетъ, а всякая другая скорбь ему чуть-ли не въ радость; однако жаловался на смерть дочери. Онъ училъ: только безбожному страшна смерть; но почему-же онъ, добродѣтельный человѣкъ, такъ не хотѣлъ умирать, когда за ѣдкія рѣчи былъ приговоренъ къ смерти?²⁾

Итакъ, легко твердить: „мужайся и переноси!“—если жизнь складывается по душѣ. Пользуясь достаткомъ, мы хвалимъ бѣдность; надѣясь на долготнѣе здоровье, легкомысленно не боимся смерти. Между тѣмъ пусть приключится нищета или скорбь,—и свѣтъ намъ не милъ и другимъ языкомъ мы разсуждаемъ о смерти³⁾. Желая возвыситься надъ обстоятельствами, мы призываемъ на помощь разумъ, но онъ является плохимъ защитникомъ отъ бѣдъ. Его направленіе зависитъ отъ настроенія человѣка, слѣдовательно отъ обстоятельствъ⁴⁾. Въ виду этого, вопреки голосу мудрости, поэтъ не считаетъ безчестіемъ отдаться переживанію чувства тяжелой утраты во всей его неизмѣримой широтѣ и глубинѣ. Его упрекали въ малодушіи, въ женственной слезливости, но эти пристыживанія ни къ чему не вели и только будили досаду въ его „раненной душѣ“⁵⁾.

Если плачь суетенъ,—говоритъ онъ,—то что-же на этомъ свѣтѣ не суета? Вся жизнь человѣческая—сплошное заблужденіе.

Кромѣ того, еще неизвѣстно, что достойнѣе: бороться съ чловѣчнымъ чувствомъ или, не стѣсняясь, изливать горе⁶⁾.

По мнѣнію Неринга, весь смыслъ треновъ заключается въ этомъ вопросѣ⁷⁾.

¹⁾ Tr. IX, 4—6.

²⁾ Tr. XVI, 21—32.

³⁾ XVI, 10—19.

⁴⁾ II, 19.

⁵⁾ XVII, 33—40.

⁶⁾ I, 15—20.

⁷⁾ Studya literackie, 42 стр.

Представимъ себѣ, каково настроеніе осиротѣлаго родителя послѣ того, какъ онъ возвратился съ кладбища. Поэтъ взвѣшиваетъ на досугѣ всю силу своего несчастья. Въ домѣ воцарилась пустота. Своей болтовней и дѣтскимъ смѣхомъ, шалостями и всѣмъ тѣмъ, что вносить съ собой начинающаяся жизнь, Оршуля наполняла комнаты чернолѣскаго дома и разгоняла хмурое настроеніе его обитателей: матери, безпрестанно озабоченной хозяйствомъ и нездоровьемъ мужа, и отца, утомленнаго умственнымъ трудомъ. Смерть унесла съ собой эту дѣвочку, а съ ней и смѣхъ и веселье ¹⁾).

Вотъ объясненіе плача Кохановскаго. Однако оно не полно, хотя опирается на его собственное свидѣтельство. Не нужно забывать, что смерть Оршули затронула не только родительскій инстинктъ, но и высшіе интересы поэта. Въ 12-мъ тренѣ онъ даетъ очеркъ внутреннихъ достоинствъ покойной дочери. Это была благоразумная, ласковая, учтивая дѣвочка. Не помолившись Богу, она никогда не вспоминала о нищѣ, ни разу не пошла спать, не поручивъ здоровья своихъ родителей Богу. Съ какой радостью она встрѣчала отца, когда онъ возвращался съ дороги! Съ какой предупредительностію она старалась помочь родителямъ въ каждой работѣ! Если въ этомъ описаніи чувствуется отецъ, дорожащій каждымъ намекомъ на будущую почтительную дочь, прекрасную женщину и хозяйку, то по другимъ подробностямъ очерка можно замѣтить дѣятеля литературы: надѣявшагося, что нить поэзіи, столь долго витая имъ въ теченіи жизни, не оборвется и по его смерти, что поэтическій талантъ не уйдетъ изъ его рода. Оршуля съ малаго возраста имѣла призваніе къ поэзіи: она пѣла, говорила, слагала стихи—будто была ученой! У ней была способность перенять чужую осанку, манеру кланяться ²⁾). Въ особенности ясно раскрываются великія надежды Кохановскаго на Оршулю въ VI тр.. Она цѣлый день улаждала слухъ отца звонкой пѣсенкой, напоминая собой соловья, который всю весеннюю ночь

¹⁾ VIII тр.

²⁾ *Spiewać, mówić, rymować—jako co uczone,*

Każdego ukłon trafić, wyrazić postawę ..

разливается въ зеленыхъ кустахъ. Въ этой младенческой душѣ горѣла искорка вдохновенія: она сама сочиняла новыя пѣсенки ¹⁾).

Намъ кажется, именно *въ идеализаціи* Оршули кроется мотивъ исключительнаго страданія Кохановскаго. Въ зачаточныхъ проявленіяхъ духовной жизни только что подыавшагося надъ землею ребенка, въ говорливости, пѣвучести, раздражательной способности его, поэтъ, поощряемый отцовскою нѣжностію, прозрѣваетъ краснорѣчіе, лирическое дарованіе, наблюдательный умъ. Въ свѣтлой отдаленности будущаго ему рисовался образъ „славянской Сафо“ ²⁾. Поэтъ съ увѣренностію говорилъ себѣ, что передастъ въ наслѣдство Оршулѣ вмѣстѣ съ земельной частью свою „лютню“ ³⁾.

Теперь этотъ лучезарный призракъ исчезъ, все богатство прекрасныхъ мечтаній разсѣялось. Онъ искренно говоритъ, что Оршуля, уходя изъ этого свѣта, взяла съ собою половину его души (*duże połowice*). Развѣ онъ оплакиваетъ смерть дѣйствительной Оршули, тридцатимѣсячнаго ребенка? Нѣтъ! Онъ рассказываетъ намъ о разставаніи поэтессы съ жизнью. Онъ приводитъ ея лебединую пѣснь ⁴⁾:

A tyś ani umierając śpiewać przestała,
Lecz matkę, ucałowawszy, także żegnała:
Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę,
Ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasięde:
Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz iechać,
Do mu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać.

Такую-же грустную исторію прощанія съ свѣтомъ, матерью (и отсутствующимъ женихомъ) Кохановскій представилъ въ одномъ изъ своихъ латинскихъ стихотвореній, „*Epitaphium Doralices*“. Тамъ рѣчь идетъ о преждевременной смерти прекрасной дѣвицы Доралики,

¹⁾ VI тр., 5 ст.

²⁾ VI тр., 1 ст.

³⁾ VI тр., 3 ст.

⁴⁾ VI тр., 15—18 ст.:

„А ты и умирая пѣть не перестала,
Но поцѣловавши мать такъ съ ней прощалась:
Ужъ я тебѣ, матушка, служить больше не буду,
Ни за твоимъ гостепріимнымъ столомъ мѣста не займу:
Придетъ время мнѣ ключи положить, самой прочь уѣхать,
Домъ милыхъ родителей на вѣкъ позабыть“.

родившейся на берегахъ Вислы. Съ ея смертью закрылись уста, источавшія прежде сладостныя слова, умолкли звуки „славянской Музы“¹⁾. Кажется намъ, что, думая о смерти Оршули, поэтъ не могъ не вспомнить свои мысли и чувства, выраженные имъ когда-то по поводу Доралики; въ такомъ случаѣ, въ воображеніи его слилась въ одинъ образъ поэтическая душа надвислянской Сафо съ дѣтскимъ личикомъ Оршули. Находясь подъ обаяніемъ этого образа, Кохановскій слишкомъ живо чувствовалъ понесенную утрату, чтобы не утѣшиться сухой мудростію стоическихъ максимъ. Они, какъ негодные пластыри, не залечивали его раны. Въ XIII-мъ тренѣ несчастный отецъ сравниваетъ себя съ бѣднякомъ, которому приснился кладъ²⁾: сновидѣніе улетѣло, предъ глазами — дѣйствительность, наводящая на тяжелыя размышленія³⁾, въ душѣ еще горитъ порывъ къ золотому призраку. Онъ не знаетъ участи столь-же горькой, какъ его участь. Только великое материнское отчаяніе Ніобы можно противопоставить его отцовской скорби⁴⁾. Только время успокоитъ его взволнованную душу⁵⁾.—Когда затмился яркій образъ Оршули впечатлѣніями позднѣйшихъ событій, въ поэтѣ воцарилось то состояніе равновѣсія, при которомъ возможно возвышенное религіозное настроеніе.

Вѣра въ таинственный загробный міръ, въ вѣчную справедливость, затуманенная, подавленная на время земными привязанностями, земнымъ идеаломъ, вновь возродилась въ сердцѣ поэта и вылилась въ XVIII тр. молитвой о прощеніи и милосердіи. Въ XIX тр. мы находимъ прекрасный апофеозъ. Поэтъ видитъ во снѣ свою дочь на рукахъ его покойной матери. Отъ лица послѣдней онъ излагаетъ ученіе о Божіей правдѣ и загробной жизни. Слова матери являются отвѣтомъ на сомнѣніе Кохановскаго въ безсмертіи души и вмѣстѣ съ тѣмъ наставленіемъ, что жизнь человѣческая—юдоль плача, гдѣ не можетъ быть истиннаго счастья.

Христіанское міросозерцаніе послѣдняго трена не представляетъ ничего особенно новаго по отношенію къ прежнимъ религіознымъ исповѣданіямъ Кохановскаго. Слѣдующимъ соображеніемъ мы уста-

¹⁾ Epitaph. Doralices. 3 т., 347 стр.

²⁾ XIII тр., 5—8.

³⁾ VII тр.

⁴⁾ XV тр.

⁵⁾ XVI тр.

навливаемъ случайность скептицизма поэта въ догматахъ вѣры во время скорби по поводу смерти дочери. Въ элегии „на смерть Яна Тарновскаго“ поэтъ совѣтуетъ людямъ устремлять свои взоры на небо; тамъ дорогіе намъ покойники наслаждаются блаженствомъ, созерцая „истинное бытіе Вѣковѣчной Мысли“. Богъ вознаградитъ нашу земную печаль земными радостями, подобно тому, какъ бѣдствія ненастной зимы вознаграждаются прекрасными весенними днями ¹⁾. Эти мысли поэтъ влагааетъ въ уста самому Яну Тарновскому; его голосъ съ небесъ какъ-бы достигаетъ до слуха сына. Подобный же литературный приемъ поэтъ, какъ извѣстно, употребилъ и въ XIX трень: „о тайнахъ вѣчности и гроба“ поэту рассказываетъ его покойная мать ²⁾.

Обратимъ вниманіе на многозначительное заключительное слово матери. Она говоритъ сыну: ты утѣшалъ въ такой же бѣдѣ другихъ; теперь, наставникъ, лѣчись самъ: время лучшей врачъ всѣхъ болѣзней. Но, кто презиралъ избитыя дорожки, тому не годится ожидать столь поздняго лѣкарства; тотъ долженъ разумомъ исцѣлять болѣзни, которыя въ другихъ излѣчиваются временемъ. Человѣкъ науки не останавливается слишкомъ долго на прошлыхъ событіяхъ, онъ смотритъ впередъ и съ одинаковымъ хладнокровіемъ готовъ встрѣтить какъ добрую, такъ и злую долю.

Итакъ, поэтъ, успокоившись, возвратилъ разуму его права быть царемъ человѣческой природы.



¹⁾ I т., 365. Трень XIX, ст, 156: Jeden jest pan smutku i nagrody.
²⁾ Подражаніе Consolatio ad Marciam Сенеки. Нерингъ: Studya liter.

